

INSPIRIA

Киран
Миллвуд
Харгрейв



МИЛО СЕРД НЫЕ

Роман, вдохновленный реальным эпизодом охоты на ведьм.
Проза Харгрейв – захватывающая, глубокая; ее роман – история о человеческом сердце, о том, как быстро предубеждения могут привести к убийству и как отчаянно нам нужны любовь и смелость, чтобы противостоять злу.

МАДЛЕН МИЛЛЕР

18+



INSPIRIA

Novel. Скандинавский роман

Киран Харгрейв

Милосердные

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Харгрейв К. М.

Милосердные / К. М. Харгрейв — «Эксмо», 2019 — (Novel.
Скандинавский роман)

ISBN 978-5-04-156788-0

Норвегия, 1617 год. Двадцатилетняя Марен стоит на обрывающейся в море скале и смотрит на штормовое море. Сорок рыбаков, включая ее отца и брата, утонули в соленой воде, оставив остров Вардё без мужчин. Через три года сюда из Шотландии прибывает Авессалом Корнет, охотник на ведьм, который сжигал женщин на кострах на северных островах. С ним его молодая жена. И пока Урса не устает восхищаться независимостью и силой Марен и ее подруг, Авессалом лишь сильнее убеждается в том, что это место погрязло во грехе, а значит, должно исчезнуть. Эпический роман о женской силе и неукротимой стихии суровой северной природы. «Вдохновленная реальным разрушительным штормом, обрушившимся на Вардо в 1617-м, эта история рассказывает о вдовах, которые стали жертвами охоты на ведьм на маленьком норвежском острове». — The Guardian

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-156788-0

© Харгрейв К. М., 2019
© Эксмо, 2019

Содержание

Шторм	6
Вардё, Финнмарк, северо-восточная Норвегия, 1617	6
1	7
2	9
3	12
4	16
5	22
6	26
Берген, Хордаланн юго-западная Норвегия, 1619	31
7	31
8	35
9	39
10	42
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Киран Миллвуд Харгрейв

Милосердные

Моей маме Андреа и всем женищинам, которые меня вырастили

Kiran Millwood Hargrave

THE MERCIES

Copyright © 2019 by Kiran Millwood Hargrave

All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.

© Покидаева Т., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

ПО ПРИКАЗУ КОРОЛЯ

Ежели колдун или ворожея отречется от Господа нашего, и Святого Писания, и христианской веры и поклонится диаволу, таковых следует без промедления предать огню и сожжению.

Из датско-норвежского Закона против колдовства и волибы, изданного в 1617 году и объявленного в Финнмарке в 1620 году

Шторм



Вардё, Финнмарк, северо-восточная Норвегия, 1617

Прошлой ночью Марен снился кит, выбросившийся на берег под скалой за ее домом. Она спустилась к нему по отвесному склону и легла рядом. Обняла эту колышущуюся громаду, эту смрадную необъятную тушу, и замерла, глядя в его яркий глаз. Больше она ничего не могла для него сделать.

Мужчины с топорами и серпами спустились по черным камням, словно стая проворных жуков в сверкающих панцирях. Они принялись рубить и резать еще прежде, чем кит испустил дух. Он дергался, бился, но они облепили его со всех сторон, держали крепко, как сеть, опутавшая рыбий косяк. Руки Марен будто выросли, стали длиннее, она обнимала его, иступленно и яростно, все крепче и крепче, и уже сама не понимала, то ли она утешает его, то ли, наоборот, душит, но ей было уже все равно. Она просто смотрела в его закатившийся глаз. Не моргая и не отрываясь.

В конце концов он затих, его дыхание сделалось почти неслышным, а люди продолжали рубить и пилить. Она почуяла запах китового жира, горящего в лампах, еще до того, как кит перестал биться в ее объятиях. Еще до того, как его яркий глаз помутнел.

Она опустила на самое дно. Ночь над ней была темной, безлунной, звезды рассыпались по морской глади. Она утонула, а затем вырвалась из сна, хватая ртом воздух. В носу свербило от дыма, в горле комом застыла тьма. Под языком осел привкус горящего китового жира, и его было уже не смыть.

1

Шторм поднялся внезапно, в мгновение ока. Так о нем будут рассказывать после, еще многие месяцы и даже годы, когда он наконец перестанет отзываться пронзительной болью в груди и стоять удушающим комом в горле. Когда он превратится в легенду. Но в легендах нет правды. Слова сплетаются слишком легко и беспечно. А в том, что видела Марен, не было ни легкости, ни величия.

Она вспоминает тот вечер. Они с мамой и Дийной чинят лучший из папиных парусов, распростертый у них на коленях. Пальцы у мамы и Дийны – проворнее, тоньше, они делают аккуратные стежки, зашивают прорехи от ветра, пока сама Марен ставит заплатки на дырки, оставшиеся от креплений на мачту.

У очага сохнут охапки белого вереска. Вчера Эрик, брат Марен, собрал его на мелкого-рье. Завтра мама отдаст ей три пригоршни. Марен разомнет стебли в руках и засунет поглубже в подушку, вместе с землей и пылью. Медовое благоухание вереска будет едва ли не тошнотворным после долгих месяцев, пронизанных несвежим запахом сна и невымытых волос. Марен сожмет стебелек в зубах и станет беззвучно кричать, пока ее легкие не наполнятся его едко-сладким, землистым ароматом.

Что-то заставляет ее обернуться к окну. Птица, пятно черноты в темноте, какой-то звук? Она встает, выпрямляет затекшую спину, смотрит на серый залив, на открытое море вдали. Гребни волн сверкают, как осколки битого стекла. Рыбачьи лодки тихонько качаются на воде, свет фонарей на носах и кормах едва различим в темноте.

На таком расстоянии непонятно, кто где, но Марен представляет, что она видит папину лодку, уходящую вдаль под вторым лучшим парусом; видит папу и Эрика. Они гребут, сидя спинами к горизонту, где солнце уже почти опустилось в море и теперь не поднимется несколько месяцев. В его гаснущем свете рыбакам видны огни в голых, незанавешенных окнах Вардэ, тонущего в своем собственном темном море. Они уже миновали одинокий утес, почти подошли к тому месту, где сегодня днем видели большой косяк рыбы, взбудораженной появлением кита.

– Он уйдет, – сказал папа. Мама до дрожи боится китов. – Набьет себе брюхо и уж точно успеет уплыть к тому времени как Эрик догребет туда своими руками-ветками.

Эрик лишь наклонил голову, подставляя маме макушку для поцелуя. Дийна, жена, прижала к его лбу большой палец. Саамы верят, что так закрепляется нить, которая приведет человека из моря домой. Эрик положил руку ей на живот, уже округлившийся, но почти незаметный под грубой вязаной кофтой. Она мягко оттолкнула его руку.

– Не трогай его, а то призовешь раньше срока.

Потом Марен будет жалеть, что она тогда не поднялась, не поцеловала обоих в обветренные загоревшие щеки. Она будет жалеть, что не смотрела им вслед, когда они спускались к причалу, оба в плотных рыбацких куртках из тюленьей кожи, плечом к плечу. Марен будет жалеть, что, когда папа с братом ушли, она не почувствовала ничего, кроме умиротворения и благодарности, что наконец-то можно побыть втроем с мамой и Дийной, в уютной женской компании.

Потому что теперь, в свои двадцать лет, получив первое предложение о замужестве, она наконец осознает себя женщиной. Три недели назад к ней посватался Даг Бьёрнсон. Он уже строит им дом, вернее, перестраивает малый лодочный сарай, принадлежащий его отцу; до конца зимы все должно быть готово, и тогда они сыграют свадьбу.

У них в доме, пообещал он Марен, обдавая ей ухо горячим шершавым дыханием, будет большая удобная печка и отдельная кладовая, чтобы он, Даг, не входил в комнату с топором, как делал папа Марен, отчего ее каждый раз пробирала дрожь. Зловещий блеск топора даже в папиных осторожных руках почему-то пугал ее до тошноты. Даг это знал, и ему было не все равно.

Он был светловолосым, как его мать, с тонким, нежным лицом. В мужчинах такие черты почитают за слабость, но Марен не возражала. Как не возражала, когда он прижимал свои теплые губы к ее шее и шептал, что уже предвкушает, как она соткет покрывало для их широкой кровати, которую он сколотит своими руками, и которая станет их брачным ложем. И хотя его робкие ласки не вызвали у Марен каких-то особенных чувств – он гладил ее по спине слишком уж высоко и без всяких намеков на что-то большее, да и ткань ее синего зимнего платья была слишком плотной, – при мыслях о доме, который уже совсем скоро станет ее собственным домом, о жаркой печке и широкой кровати, у нее в животе становилось щекотно и горячо. По ночам она прижимала ладонь к тем местам, где ее коже было тепло от дыхания Дага. Ее холодные пальцы скользили по бедрам, онемелым и словно чужим.

Даже у Эрика с Дийной не было своего дома: они жили в узкой пристройке за домом родителей Марен. Их кровать занимала всю ширину комнаты и стояла вплотную к кровати Марен, отделенная от нее тонкой стеной. Несколько первых ночей после свадьбы брата Марен прятала голову под подушку, вдыхала затхлый соломенный запах матраса, но так и не услышала ни единого вздоха. Было чему удивляться, когда у Дийны начал расти живот. Ребенка ждали к началу весны, и тогда их должно было стать уже трое в этой тесной постели.

Наверное, ей стоило проводить в море и Дага тоже.

Но она никуда не пошла – она чинила прохудившийся парус, разложив его у себя на коленях, и не поднимала глаз от работы, пока птица, или какой-то звук, или неуловимая перемена в воздухе не позвали ее к окну, за которым сгущались полярные сумерки, и свет заходящего солнца искрился на морской глади.

Она ощутила какое-то странное покалывание в руках и засунула пальцы, истыканные иголкой, под отворот рукава вязаной кофты: волоски на руках встали дыбом, кожа покрылась мурашками. Рыбацкие лодки по-прежнему тихо покачивались на волнах, фонари на носах и кормах тускло мерцали в неуверенном гаснущем свете.

А потом море взметнулось вверх, небо обрушилось вниз, и зеленая молния пронзила пространство, осветив все вокруг – ослепительно, жутко, внезапно. Мама тоже подбежала к окну, привлеченная вспышкой и грохотом грома, от которого содрогнулись и море и небо. Эта

дрожь отдалась в ногах Марен. Она прикусила язык и почувствовала во рту привкус горячей соленой крови.

Наверное, они с мамой кричали, но не слышали собственных криков из-за грохота, грома и рева волн; огни на лодках разом погасли, а сами лодки как будто взлетели над морем, закружились и исчезли из виду. Волны вздыбились так высоко, а небо нависло так низко, что казалось, весь мир опрокинулся с ног на голову, и Марен сама толком не поняла, как она выскочила во двор – прямо в студёный ветер, – ее юбка намочила мгновенно, мешая бежать. Дийна звала ее в дом, надо было скорее закрыть дверь, чтобы огонь в очаге не погас. Дождь давил Марен на плечи, не давал распрямиться, ветер бил ее в спину, она сжимала кулаки, хватаясь за пустоту, и кричала так громко, что сорвала голос, и горло потом саднило еще несколько дней. И повсюду вокруг точно так же кричали другие матери, сестры и дочери, выбежавшие под дождь, – темные, мокрые силуэты, неуклюжие, как тюлени на суше.

Шторм унялся прежде, чем Марен добралась до причала, в двухстах шагах от дома, где суша разевает на море свою пустую пасть. Небо качнулось и сдвинулось вверх, море сдвинулось вниз, тихо-тихо, как птичья стая, сающаяся на луг, и замерли, соприкасаясь на линии горизонта.

Женщины Вардэ собрались на краю острова, и, хотя кто-то еще кричал, в ушах у Марен звенело от внезапно обрушившейся тишины. Залив сделался гладким, как зеркало. У Марен свело челюсть, кровь из прокушенного языка текла теплыми струйками по подбородку. Иголка проткнула ей руку насквозь, вошла в перепонку между большим и указательным пальцами, но ранка была такой мелкой, что даже не кровоточила.

Последняя вспышка молнии озарила ненавистно тихое море, из его черной глади поднялись весла, штурвалы и одна целая мачта с намокшим парусом – словно подводный лес, выкорчеванный с корнем. А их мужчины сгинули без следа.

Был канун Рождества.

2

За ночь мир сделался белым. Снег ложится на снег, заматывая окна и пасти дверей. В это Рождество, в первый день после шторма, в церкви не зажигают свечей. Она зияет дырой темноты между тускло освещенными домами и как будто сама поглощает свет.

Из-за непрерывного снегопада они не выходят из дома три дня, Дийна заперта в своей узкой пристройке, Марен больше не может подняться с постели, не может заставить подняться маму. Им нечего есть, кроме старого черствого хлеба, который камнем падает в желудок. Марен кажется, что, кроме этих буханок, в мире нет ничего плотного, ничего прочного, она сама – призрачна и нереальна, ее тело держится на земле лишь за счет веса пищи. Если перестать есть, она превратится в дым и воспарит сизым облачком к потолку.

Чтобы не рассеяться, чтобы не рассыпаться на кусочки, она ест, пока не заболит живот, или садится у очага и подставляет себя теплу: как можно больше себя. Только там, где жар от огня прикасается к Марен, она ощущает себя настоящей. Она поднимает волосы на затылок, обнажая грязную шею; растопыривает пальцы, чтобы тепло облизало их со всех сторон; задирает юбку повыше, и ее толстые шерстяные носки нагреваются так, что воняют паленым. *Здесь, здесь и здесь.* Ее грудь, и спина, и сердце между ними плотно закутаны в зимний жилет, стянуты крепко-накрепко.

На второй день огонь в очаге гаснет, впервые за многие годы. Огонь всегда разжигал папа, они только следили, чтобы он не потух, присыпали на ночь золой и каждое утро ломали спекшуюся корку, выпуская на волю горячее дыхание пламени. За считанные часы одеяла у них на постели покрываются инеем, хотя Марен с мамой спят вместе, в одной кровати. Они не разговаривают друг с другом, не раздеваются даже в доме. Марен кутается в папину старую

куртку из тюленьей кожи. Шкуру не вычистили, как должно, и она слегка отдает прогорклым жиром.

Мама надела детскую куртку Эрика. Взгляд у нее – тусклый и мертвый, как у копченой рыбыны. Марен старается заставить ее поесть, но мама просто лежит, глядит в пустоту и вздыхает, как дитя. Марен рада, что окна завалены снегом. Это значит, что море скрыто от глаз.

Эти три дня – словно яма, куда она падает бесконечно. Марен наблюдает, как папин топор поблескивает в темноте. Язык разбухает во рту – неповоротливый, словно замшелый, – то место, где Марен прикусила его, сделалось вздутым и рыхлым, твердым по центру. Ранка еще беспокоит, кровоточит, и от привкуса крови Марен еще сильнее мучит жажда.

Ей снятся папа и Эрик, и она просыпается в холодном поту, с ледяными руками. Ей снится Даг, у него изо рта сыплются гвозди, которые он приготовил для их кровати. Она не знает, что будет дальше. Возможно, они все умрут. Может быть, Дийна уже умерла, а ребенок у нее в животе еще шевелится, но с каждой минутой все медленнее. Может быть, Бог спустится к ним с небес и велит жить.

От них обеих смердит, когда Кирстен Сёренсдоттер раскапывает сугробы у их двери, входит к ним и помогает разжечь потухший огонь. Когда она расчищает дорожку к двери Дийны, та смотрит волком: губы поджаты, полные злости глаза тускло поблескивают в свете факела, руки прижаты к выпирающему животу.

– Все в церковь, – говорит им Кирстен. – Сегодня воскресенье.

Даже Дийна, которая не верит в их Бога, не возражает.

* * *

Лишь когда они все собираются в церкви, Марен осознает: почти все мужчины погибли.

Торил Кнудсдоттер зажигает свечи, одну за другой, пока свет не становится таким ярким, что режет Марен глаза. Она подсчитывает про себя. Из пятидесяти трех мужчин Вардё в живых осталось тринадцать: два младенца, еще не отнятых от материнской груди, три старика, остальные – мальчишки, еще не готовые выйти в море. Даже пастора больше нет.

Женщины сидят на своих обычных местах, между ними зияют пустоты, где раньше сидели сыновья и мужья, но Кирстен велит всем пересесть на передние скамьи. Все подчиняются, словно покорное стадо. Все, кроме Дийны. Из семи рядов церковных скамей занято только три.

– Штормы случались и раньше, – говорит Кирстен. – Рыбаки гибли в море, но мы как-то справлялись.

– Гибли, да. Но никогда так много сразу, – говорит Герда Фёльнсдоттер. – И среди них не было моего мужа. И твоего тоже, Кирстен. И мужа Зигфрид. И сыновей Торил. Они все...

Она умолкает, прижав руку к горлу.

– Давайте молиться или петь гимны, – предлагает Зигфрид Йонсдоттер, и все остальные ядовито глядят на нее. Из-за сильного снегопада они целых три дня просидели взаперти, не общаясь друг с другом, и ни о чем, кроме шторма, они говорить не хотят и не могут.

Женщины Вардё, все до единой, ищут знамения. Вещие знаки. Первым был шторм. Тела погибших, когда море решит их отдать, будут вторым. Но теперь Герда заводит речь о единственной крачке, кружившей над пришлым китом.

– Я ее видела своими глазами. Она выписывала восьмерки, – говорит Герда, рисуя в воздухе плавные линии. – Раз, второй, третий... Я насчитала шесть раз.

– Шестью восемь совсем ничего не значит, – пренебрежительно морщится Кирстен. Она стоит рядом с кафедрой пастора Гюрссона, водит пальцем по резному узору на крышке. Кроме этих движений, больше ничто не выдает ее внутреннего напряжения и скорби.

Ее муж был в числе утонувших, а дети похоронены, так и не сумев сделать первый вздох. Марен всегда нравилась Кирстен, но сейчас она видится ей так же, как видится всем остальным: женщиной, что всегда держится особняком. Она стоит рядом с кафедрой, а могла бы стоять и *за*. Она наблюдает за ними, как пастор, внимательно и спокойно.

– И все-таки странный был кит, – говорит Эдне Хансдоттер. Ее лицо так распухло от слез, что глаза почти не видны. – Он плыл кверху брюхом. Я видела, как блестел его белый живот.

– Он здесь кормился, – говорит Кирстен.

– Он заманивал наших мужчин, – возражает Эдне. – Он гонял рыбий косяк вокруг утеса шесть раз, чтобы мы точно его заметили.

– Я тоже видела, – кивает Герда и крестится. – Вот вам крест.

– Ничего ты не видела, – отвечает Кирстен.

– На прошлой неделе Маттис выкашлял прямо на стол сгусток крови, – говорит Герда. – И пятно так и не удалось соскрести.

– Я найду, если хочешь, и отмою его песком, – предлагает Кирстен.

– Это был не обычный кит, – говорит Торил. К ней жметя дочка, прильнула так тесно, что кажется, будто она пришита к материнскому боку аккуратными мелкими стежками Торил, знаменитыми на всю деревню. – Если все было, как говорит Эдне, значит, он был послан сюда.

– Послан? – переспрашивает Зигфрид, и Марен видит, что Кирстен глядит на нее с благодарностью, видимо, рассудив, что у нее появилась союзница. – Разве такое возможно?

С заднего ряда доносится вздох, и все оборачиваются к Дийне. Она сидит с запрокинутой головой и закрытыми глазами, смуглая кожа у нее на горле отливает золотистым в свете церковных свечей.

– Не иначе как происки дьявола, – говорит Торил. Ее дочка испуганно плачет, уткнувшись лицом ей в плечо. Марен мысленно задается вопросом, сколько страха и ужаса Торил успела вложить в умы своим двум уцелевшим детям за эти три дня. – Нечистый властен над всем, кроме Бога. Он мог послать нам кита. Или его могли призвать.

– Хватит, – говорит Кирстен, нарушая гнетущую тишину, пока она не сгустилась еще сильнее. – От таких разговоров пользы нет.

Марен хочется разделить эту уверенность, но ее мысли снова и снова возвращаются к черной тени, к тому странному звуку, что заставил ее подойти к окну. Тогда она подумала, что это птица, но теперь тень разрастается в воспоминаниях и обретает все более чудовищные очертания. Тень плывет кверху брюхом, у нее пять плавников. Против всякого естества. Эта сгущенная темнота постоянно маячит на краю поля зрения даже в благословенном свете церковных свечей.

Мама трясет головой, словно только проснувшись, хотя свет свечей отражался в ее немигающих глазах с той минуты, как они с Марен уселись на скамью.

– В ту ночь, когда родился Эрик, – говорит мама, и в ее голосе явственно слышится эхо звенящей тишины, – в небе горела красная точка.

– Я помню, – тихо произносит Кирстен.

– Я тоже помню, – кивает Торил.

«И я», – думает Марен, хотя ей тогда было всего два года.

– Я ее видела, эту звезду. Она скатилась с небес прямо в море, и вода обагрилась, – говорит мама, едва шевеля губами. – Он был отмечен с рождения, – стонет она, закрывая руками лицо. – Нельзя было пускать его в море, нельзя.

Женщины вновь принимаются голосить. Теперь даже Кирстен не может их успокоить. Пламя свечей вздрагивает под порывом холодного ветра из распахнутой двери. Обернувшись, Марен еще успевает увидеть, как Дийна выходит из церкви. Марен обнимает маму за плечи, но не произносит ни слова. То единственное, что она сейчас может сказать, все равно не принесет утешения: *А куда ему было еще, как не в море.*

Вардё – это остров, гавань с причалами располагается на пологой его стороне, где залив полукругом вгрызается в сушу; на другой стороне высятся неприступные отвесные скалы, лодки там не пристанут. Марен узнала о рыбацких сетях раньше, чем узнала о боли. И намного раньше, чем узнала о любви. Каждое лето мамыны руки блестят от прилипших к ним рыбьих чешуек, а сами рыбыны, натертые солью, сушатся, развешанные на веревках, точно белые детские пеленки, или перегнивают в земле, обернутые в оленьи шкуры.

Папа всегда говорил, что они живут милостью моря: оно дарит им благодать, дает пищу, а значит, и жизнь. Иногда оно отбирает жизни, но это честный обмен. Так было всегда, и так будет всегда. Но после шторма море стало врагом, и многие уже призадумались об отъезде.

– У меня родня в Алте, – говорит Герда. – У них есть земля, и всегда есть работа.

– Шторм до них не добрался? – спрашивает Зигфрид.

– Скоро мы это узнаем, – говорит Кирстен. – Думаю, из Киберга сообщат. Уж там-то штормило наверняка.

– Сестра точно пришлет мне весточку, – кивает Эдне. – У нее целых три лошади, а тут верхом день пути.

– И тяжелая переправа, – говорит Кирстен. – Море еще беспокойно. Вести придут, но придется подождать.

Марен слушает, как соседки говорят о Варангере и даже о запредельном Тромсё, словно кто-то из них сможет жить в большом городе, вдали от родных мест. Женщины спорят о том, кто возьмет для переезда оленей. Стадо принадлежало Мадсу Питерсону, утонувшему вместе с мужем и сыновьями Торил. Они были все в одной лодке. Торил, похоже, считает, что это дает ей какое-то право на собственность Мадса, но Кирстен заявляет, что позаботится об оленях сама, и ей никто не возражает. Да и кто бы стал возражать? Сама Марен до сих пор не умеет разжечь огонь в очаге, куда уж ей содержать стадо нервных животных, да еще в самом разгаре зимы. Торил, видимо, думает так же, потому что мгновенно отказывается от претензий.

В конце концов разговор выдыхается и стихает. Ничего еще не решено. Сначала надо дожидаться вестей из Киберга или самим послать туда вести, если от них ничего не придет до конца следующей недели.

– До тех пор предлагаю нам всем ежедневно собираться в церкви, – говорит Кирстен, и Торил с жаром кивает, в кои-то веки соглашаясь с Кирстен. – Нам нужно заботиться друг о друге. Снегопады, похоже, унялись, но нельзя сказать наверняка.

– Берегитесь китов, – говорит Торил. Свет падает ей на лицо, и под кожей проступают кости. Вид у Торил серьезный и даже зловещий, а Марен хочется рассмеяться. Она легонько прикусывает язык в том месте, где ранка еще не зажила.

Больше никто не заикается об отъезде. По дороге домой мама держится за руку Марен и сжимает так сильно, что рука начинает болеть. Марен идет, погруженная в свои мысли. Интересно, другие женщины тоже чувствуют связь с этим местом – и сейчас даже сильнее, чем прежде? Кит или не кит, предзнаменование или нет – Марен видела гибель сорока рыбаков. И теперь что-то держит ее на Вардё, держит так крепко, что она себя чувствует зверем в капкане.

3

Через девять дней после шторма, в самом начале нового года, им возвращают мужчин. Почти все, почти целые. Разложенные, как подношения, в маленькой каменной бухте среди утесов или поднятые на волнах к скалам под домом Марен. Их приходится поднимать на веревках, на тех самых веревках, которыми пользовался Эрик, когда собирал птичьи яйца на скальных откосах.

Эрик и Даг возвращаются в числе первых, папа – в числе последних. Папа потерял руку, Даг прожжен насквозь: черная опаленная полоса тянется от его левого плеча к правой стопе. Это значит, говорит мама, в него ударила молния.

– Быстрая смерть, – шепчет она, не скрывая горечи. – Легкая смерть.

Марен утыкается носом в плечо, вдыхает свой запах.

Эрик, брат Марен, как будто не мертвый. Как будто спит. Но его кожа отливает пугающим зеленоватым свечением, как у всех остальных, кого море вернуло на сушу. Он *утонул*. Это не легкая смерть.

Когда настает черед Марен спускаться с утеса, она подбирает сына Торил, зацепившегося, как коряга, за острые камни у берега. Он ровесник Эрика, его плоть перекачивается на костях, как куски мясной туши в мешке. Марен убирает с его лица мокрые волосы, снимает с ключицы прилипший кусочек водорослей. Им с Эдне приходится обвязать тело веревкой не только на поясе, но еще на груди и ногах, чтобы не развалилось на части, пока его будут затаскивать наверх. Марен рада, что не увидит лица Торил, когда та примет в объятия своего сына. Она всегда недолюбливала Торил, но горестные причитания вонзаются в сердце Марен сотней острых иголок.

Земля смерзлась в камень, ее не возьмет никакая лопата, и мертвых решили сложить в большом лодочном сарае, принадлежавшем отцу Дага. Холод сохранит тела до весны. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем почва оттаяет, и женщины Вардэ смогут похоронить своих мужчин.

– Парус можно пустить на саван, – говорит мама, когда Эрика забирают в лодочный сарай. Она смотрит на брошенный посреди комнаты парус так, словно в него уже завернули Эрика. Почти две недели парус валяется на полу, где они его оставили в ту злосчастную ночь. Мама с Марен обходили его по широкой дуге, не желая к нему прикасаться, но теперь Дийна хватает парус и качает головой:

– Только напрасная трата материи.

Марен этому рада: море забрало жизни отца и брата, так пусть не преследует их в могиле. Дийна складывает парус сноровисто и умело, прижимая его к животу, и сейчас в ней есть что-то от той прежней, решительной и задорной девушки, которая прошлым летом вышла замуж за брата Марен.

Но Дийна исчезает на следующий день после того, как вернулись Эрик и Даг. Мама в бешенстве от того, что Дийна убежала рожать ребенка к своей саамской семье. Мама говорит ужасные вещи. Марен знает, что на самом деле она так не думает, но все равно говорит: называет Дийну лапландкой, блудницей, дикаркой, как могли бы назвать ее Торил и Зигфрид.

– Я так и знала, – рыдает мама. – Зачем я ему разрешила взять в жены лапландку?! Они не такие, как мы. Они ни к чему не привязаны, никому не верны.

Марен лишь молча гладит ее по спине. Да, детство Дийны прошло в кочевьях под переменчивым звездным небом, даже зимой. Ее отец – нойда, шаман, уважаемый человек. Пока в их краях не утвердилось христианская церковь, их сосед Бор Рагнвальдсон и многие другие мужчины деревни приходили к нему за амулетами на защиту от непогоды. Теперь все прекратилось, вышел новый закон, запрещающий такие вещи, но на крыльцах большинства домов в Вардэ до сих пор стоят крошечные костяные фигурки, которые, как утверждают саамы, защищают от зла. Пастор Гюрссон закрывал на это глаза, хотя Торил и ей подобные настоятельно призывали его проявить строгость.

Марен знает, что Дийна осталась жить в Вардэ лишь из любви к Эрику. Но она не ожидала, что Дийна так просто уйдет. Уж точно не сейчас, когда они столько потеряли. Не сейчас, когда она носит под сердцем ребенка Эрика. Она не настолько жестока, чтобы отнять у мамы и Марен то последнее, что осталось у них от погибшего брата и сына.

* * *

К концу недели приходят известия из Киберга. До Вардэ добрался зять Эдне и сообщил, что помимо нескольких побитых лодок, пришвартованных у причала, в Киберге потеряли троих рыбаков. Женщины, собравшиеся в церкви, беспокойно ерзают на скамьях.

– Почему они не ходили рыбачить? – удивляется Зигфрид. – В Киберге разве не видели тот косяк рыбы?

Эдне качает головой.

– И не видели кита.

– Значит, он был послан нам, – говорит Торил вполголоса. Ее страх расходится по рядам волной приглушенных шепотков.

Разговор получается слишком вольным для святого места – сплошные дурные знамения и досужие домыслы, – но они не могут устоять перед искушением посплетничать. Их слова точно пряжа, туго связанная узелками правды и вымысла. Впрочем, многим из женщин уже все равно: правда-неправда, им все едино. Им нужно найти для себя хоть какую-то точку опоры, хоть какой-то порядок в их навсегда изменившейся жизни. То, что кит плыл кверху брюхом больше не вызывает сомнений, и, хотя Марен пытается отгородиться от липкого ужаса, порожденного их болтовней, в ней все-таки нет того стержня, который есть в Кирстен.

Кирстен переселилась в дом Мадса Питерсона: так удобнее ухаживать за оленями. Марен наблюдает за ней, невозмутимо стоящей у пасторской кафедры. Они почти не разговаривали с тех пор, как Кирстен отрыла их из-под снега, лишь обменялись словами сочувствия, когда забирали из моря погибших мужчин. Пока Марен размышляет, что надо бы подойти к Кирстен после собрания, та выходит из церкви и идет к своему новому дому, согнувшись под ветром.

* * *

Дийна вернулась в тот день, когда море отдало им папу. Ближе к вечеру Марен слышит какие-то крики у большого лодочного сарая и мчится туда со всех ног, воображая себе всякое: еще один шторм – хотя она сама видит, что серое небо спокойно и ветра нет, – или, может быть, кого-то вернувшегося еще живым.

У двери в сарай толпятся женщины. Впереди – Зигфрид и Торил, их лица искажены гневом. Перед ними стоят Дийна и какой-то саам: невысокий и коренастый, он невозмутимо глядит на женщин, что-то кричащих ему в лицо. Это не отец Дийны, но у него на бедре висит шаманский бубен. Они с Дийной вдвоем держат рулон какого-то плотного серебряного полотна. Подойдя ближе, борясь с головокружением после бега, Марен видит, что это не полотно, а кусок бересты.

– Что происходит?

Она обращается к Дийне, но отвечает ей Торил:

– Она хочет их хоронить в *этом*. – Ее голос звенит истеричными нотками, изо рта брызжет слюна. – По их богомерзким обычаям.

– Нет смысла тратить материю, – говорит Дийна. – Когда их так много.

– Даже близко не походи к моим мальчикам с этой поганью. – Торил дышит еще тяжелее, чем Марен, и смотрит на бубен так, словно это орудие убийства. Зигфрид Йонсдоттер согласно кивает, и Торил продолжает: – И к моему мужу. Он был набожным человеком и добрым христианином. Я тебя к нему не подпущу.

– Однако же ты прибежала ко мне, когда хотела зачать еще одного ребенка, – говорит Дийна.

Торил прикрывает руками живот, хотя ее дети давно родились.

– Не было такого.

– Было, Торил, мы все это знаем, – говорит Марен, не в силах терпеть эту ложь. – И ты, Зигфрид. Ты тоже к ней обращалась. Тут многие к ней обращались. Или к ней, или к ее отцу. Торил смотрит, прищурившись.

– Я никогда не пошла бы к лапландской колдунье.

По толпе женщин проносится шипящий шепот. Марен делает шаг вперед, но Дийна вытягивает руку к Торил.

– Посадить бы язву тебе на язык. Или проткнуть чем-то острым, чтобы вышел весь яд. – Торил испуганно съезживается. – Это не колдовство, и береста не для них.

Дийна оборачивается к Марен. Она очень красивая в синеватом сумеречном свете, ее черты дышат силой, глаза в обрамлении густых ресниц.

– Для Эрика.

– И для моего папы. – У Марен срывается голос. Ей невыносима сама мысль о том, чтобы их разделить. Папа любил Дийну и гордился, что его сын взял в жены дочку шамана.

– Он вернулся?

Марен кивает, и Дийна хлопает ее по плечу.

– И для герра Магнуссона, само собой. Мы их проводим. И всех остальных, кто захочет.

– И твоя матушка это одобрит? – Торил оборачивается к Марен, и та молча кивает. Перепираться нет сил. Голова словно налита свинцом, еле держится на плечах.

По толпе снова проносится шепот. В конце концов решено: тех, чьи родные согласны на саамские ритуалы, перенесут в малый лодочный сарай, который должен был стать домом Марен. Таких всего четверо: Эрик, папа, бедняга Мадс Питерсон – у него нет семьи, и за него некому говорить – и Бор Рагнвальдсон, который частенько ходил на мелкогорье и носил саамскую одежду.

Из малого лодочного сарая получился бы славный дом. Одна кладовая была бы просторнее, чем комната Эрика с Дийной, а жилое пространство могло бы сравниться с главной комнатой в доме родителей Дага, самом большом доме в деревне. Доски, предназначавшиеся для кровати, которую Даг должен был сделать своими руками, лежат аккуратными штабелями.

Доски уносят, берут на растопку. Папу и Эрика кладут на голую землю. Марен не смогла забрать Дага, пришлось оставить его в большом лодочном сарае. Фру Олафсдоттер, мать Дага, не сказала Марен ни единого слова и избегала смотреть ей в глаза.

Марен срезает у Эрика прядь замерзших волос, прячет в карман. Оставив Дийну и нойду в холодной комнате, наполненной тишиной, она выходит на улицу и идет к большому лодочному сараю. Кто-то из женщин прибил к двери большой деревянный крест. Это совсем не похоже на благословение для тех, кто внутри – скорее на оберег, чтобы отваживать тех, кто снаружи.

Когда Марен приходит домой, мама спит, закрывая рукой глаза, словно пытается спрятаться от кошмаров.

– Мама? – Марен хочется рассказать ей о нойде, о малом лодочном сарае. – Дийна вернулась.

Мама не отвечает. Кажется, даже не дышит. Марен едва сдерживает себя, чтобы не наклониться над ней, почти прижавшись щекой к ее рту, и убедиться, что она жива. Марен достает из кармана срезанную у Эрика прядь волос, сушит их у огня. Они завиваются в мелкие тугие кудри. Она надрезает подушку, прячет волосы брата внутри, вместе с вереском.

* * *

Каждый день после церкви Марен ходит в малый лодочный сарай, но никогда не остается там на ночь, как Дийна и человек с бубном. Он не говорит по-норвежски и не назвал легкого

варианта своего имени, поэтому Марен зовет его Варром, что означает «недремлющий, бдящий» – и это немного похоже на начало его настоящего имени: он его произнес, и не раз, но ухо Марен, не привычное к саамской речи, уловило лишь первый слог.

Приходя к папе и Эрику, она каждый раз мешкает перед дверью, прислушиваясь к голосам Дийны и Варра. Друг с другом они разговаривают по-саамски и умолкают, как только Марен открывает дверь. Ей всегда кажется, что она заявила не вовремя, словно они занимались чем-то очень-очень личным, и она им помешала. Ей всегда кажется, что своим неуклюжим присутствием она нарушает какое-то зыбкое, хрупкое равновесие.

Марен говорит с Дийной по-норвежски, и та переводит ее слова Варру. Фразы Дийны всегда короче, словно саамские слова вмещают в себя больше смыслов и лучше подходят для выражения мыслей, которые пытается высказать Марен. Интересно, что чувствует человек, у которого в голове, во рту уживаются два языка? Когда один начинает звучать, второй прячется, будто темный секрет, где-то в глубинах горла? Дийна всегда жила между двумя языками, между двумя мирами, время от времени приходила в Вардё – с тех пор, как Марен была девочкой – сама тоже девочка, рядом со своим молчаливым отцом, которого звали в деревню, чтобы починить сети или сплести чары.

– Мы тут жили, – сказала Дийна однажды, давным-давно, когда Марен еще немного ее побаивалась: девочку в брюках и куртке, отделанной мехом медведя, которого она освежевала сама.

– Это ваша земля?

– Нет. – Голос Дийны был так же тверд, как ее взгляд. – Мы просто тут жили.

Иногда, подходя к малому лодочному сараю, Марен слышит стук шаманского бубна, размеренный ритм, непрерывный, как сердцебиение. После этого ей спокойнее спится, по ночам ее не донимают кошмары, хотя самые рьяные церковные прихожанки уже начали недовольно роптать. Дийна говорит, что стук бубна расчистит дорогу для душ, чтобы они легко вышли из тел и ничего не боялись. Но Варр никогда не бьет в него в присутствии Марен. Кожаная мембрана шаманского бубна туго натянутая на обод из какой-то светлой древесины. Ее покрывают рисунки из крошечных дырочек: сверху – олень, держащий на рогах луну и солнце, в центре – хоровод из людей наподобие человечков в бумажной гирлянде, в самом низу – какие-то уродливые переплетенные друг с другом фигуры – почти что люди и почти что звери.

– Это ад? – спрашивает Марен у Дийны. – И небеса, и мы между ними?

Дийна не переводит ее вопрос Варру.

– Оно все здесь.

4

Зима ослабляет свою ледяную хватку на Вардё, в кладовых почти пусто, и солнце уже поднимается над горизонтом. Когда родится ребенок Дийны и Эрика, дни на острове наполнятся светом.

Жизнь в деревне вошла в неустойчивый ритм. Марен чувствует, как ее дни обретают размеренность. Церковь, лодочный сарай, домашние хлопоты, сон. Хотя раскол между Кирстен и Торил, между Дийной и остальными ощущается все сильнее, женщины Вардё объединяют усилия, как гребцы в лодке. Это вынужденное содружество, порожденное необходимостью: в одиночку им просто не выжить, особенно теперь, когда в каждом доме запасы съестного подходят к концу.

Из Алты им присылают немного зерна, из Киберга – чуток вяленой рыбы. Иногда в залив входят торговые корабли, матросы добираются до причала на шлюпках, привозят тюленьи шкуры и ворвань. Кирстен без стеснения беседует с моряками и умудряется выторговать

неплохие условия, но в деревне почти не осталось вещей для обмена, и всем уже ясно, что когда придет время весеннего сева, им придется справляться самим. Помощи ждать неоткуда.

Когда выдается свободная минутка, Марен ходит на мыс, где они с Эриком часто играли в детстве. Чахлые заросли вереска уже потихонечку оживают после долгой зимы, не выдавшей солнца. Очень скоро они разрастутся Марен по колено, и воздух наполнится сладостью, от которой сводит зубы.

По ночам с горем справляться труднее. Когда Марен в первый раз после долгого перерыва берет в руки иглу, волоски у нее на руках встают дыбом, и она роняет иголку, словно обжегшись. Ее сны темны и залиты водой. В этих снах Эрик заперт в бутылке, брошенной в море, и волны лижут дыру на месте оторванной папиной руки: из дыры торчит белая кость. Чаще всего Марен снится кит, его темная туша ломится сквозь толщу сна, сметая все на своем пути. Иногда он глотает ее целиком, иногда выбрасывается на берег, и она лежит с ним в обнимку, глаза в глаза, и задыхается от его смрадного духа.

Марен знает, что маме тоже снятся кошмары, но она почему-то уверена, что в маминых снах не шумит море, и она просыпается без привкуса соли во рту. Иногда Марен всерьез размышляет о том, что, может быть, это она и призвала беду на Вардё – ей так хотелось подольше побыть только с мамой и Дийной. И теперь ее желание сбылось. Вплоть до того, что никто из мужчин из других поселений не спешит перебраться на Вардё, хотя Киберг совсем рядом, да и Алта не так уж и далеко. Марен хотела побыть с женщинами и теперь, кроме них, никого нет.

Марен уже начинает казаться, что так будет всегда: Вардё останется островом без мужчин, но они все-таки выживут. Холода отступают, земля скоро оттает, и можно будет похоронить мертвых, чтобы они упокоились с миром. И тогда, быть может, часть тревог и раздоров упокоятся тоже.

Марен хочется запустить пальцы в мягкую почву, ощутить в руках тяжесть лопаты, уложить в землю папу и Эрика в их хрупких саванах из бересты. Она каждый день бегаёт в огородик за домом и скребет землю ногтями.

* * *

Через четыре месяца после шторма, в тот день, когда пальцы Марен без труда погружаются в землю, она бежит в церковь, чтобы скорее сообщить остальным, что уже можно копать могилы. Но слова застревают, как кость, вставшая поперек горла: за пасторской кафедрой стоит незнакомец.

– Это пастор Нильс Куртсон, – с трепетом в голосе произносит Торил. – Его прислали к нам из Варангера. Слава Богу, о нас все-таки не забыли.

Пастор смотрит на Марен. Глаза у него очень светлые, почти бесцветные. Он сам невысокий, худой, как мальчишка.

Лишившись своего обычного места у кафедры, Кирстен подсаживается к Марен и шепчет ей на ухо:

– Надеюсь, что его проповеди будут не такими тщедушными, как он сам.

Но именно такие они и есть. Чем же он, бедный, так провинился, думает Марен, что его сослали в Вардё. Пастор Куртсон, тоненький, как тростинка, явно непривычен к суровой приморской жизни. Его слова, обращенные к женщинам Вардё, не дают им утешения в бедах и скорбях, а он, похоже, немного побаивается своей новой паствы, почти сплошь состоящей из женщин, и каждое воскресенье спешит спрятаться у себя в доме, едва под сводами церкви отзвучит последнее «Аминь».

Теперь, когда церковь заново освящена, женщины собираются каждую среду в доме матери Дага, фру Олафсдоттер. В доме, который стал слишком большим для его одинокой хозяйки, превратившейся в тень среди опустевших притихших комнат. Разговоры на встре-

чах все те же, но женщины сделались осторожнее. Как очень верно заметила Торил, о них не забыли, и Марен уверена, что она не единственная, кого тревожит вопрос, что это значит и что теперь будет.

Через несколько дней после приезда на Вардё пастор пишет в Киберг, просит, чтобы на остров прислали мужчин. Кибергцы отряжают десятерых, в том числе зятя Эдне, и сердце Марен переполняется ревнивой злостью, когда она узнает, что они прибыли хоронить мертвых. Два дня без продыху они роют могилы, с утра до поздней ночи. Они слишком шумные, эти мужчины из Киберга, и слишком много смеются для своих скорбных трудов. Они спят в церкви и без стеснения глазят на женщин, идущих мимо. Марен старается не поднимать головы, но все равно чуть ли не ежечасно ходит на кладбище, чтобы посмотреть, как продвигается их работа.

Кладбище располагается на северо-западной оконечности острова, и сейчас там сплошные темные ямы, так много, что у Марен кружится голова. Рядом с каждой зияющей ямой высится холмик свежерытой земли. Марен наблюдает издали и представляет ноющую боль в руках, бьющий в ноздри запах почвы, струящийся по спине пот. Это как-то неправильно, несправедливо: после всего, что пришлось пережить здешним женщинам, после того, как они собирали на скалах своих мужчин и всю зиму хранили тела, нельзя, чтобы кто-то чужой рыл могилы. Марен знает, что Кирстен наверняка с ней согласится, но ей не хочется затевать споры. Ей хочется, чтобы папа и брат наконец легли в землю, чтобы зима поскорее завершилась, и чтобы мужчины из Киберга отбыли восвояси.

Утром на третий день из большого лодочного сарая выносят их мертвых мужчин, уже отдающих гнилым душком, с животами, раздутыми под полотняными саванами, сшитыми Торил. Тела, аккуратно разложенные у могил, кажутся ослепительно-белыми на фоне темной земли.

– Прямо так, без гробов? – спрашивает один из пришлых мужчин, дернув за саван ближайшего мертвеца.

– Сразу сорок покойников, – отвечает другой. – Это же сколько трудов, а тут одни женщины.

– Пошить саван труднее, чем сколотить гроб, – ледяным голосом произносит Кирстен, и Торил изумленно глядит на нее. – И сделайте милость, не трогайте моего мужа.

Она садится на край могилы, и Марен даже не успевает понять, что происходит: Кирстен уже соскользнула в яму, так что наружу торчат только плечи и голова. И руки, протянутые вперед.

Мужчины стоят, открыв рты, и глядят друг на друга, Кирстен сама берет мужа – бережно, словно боясь потревожить – и опускает его в могилу. Нагнувшись, она ненадолго скрывается из виду, а потом появляется вновь и вылезает из ямы, сверкнув чулками из-под задравшейся юбки.

Торил неодобрительно цокает языком и отводит глаза, один из мужчин издает хриплый смешок, но Кирстен лишь молча берет горсть земли, бросает в могилу, на тело мужа, и, повернувшись спиной к черной яме, шагает прочь. Она проходит так близко от Марен, что та видит слезы у нее на щеках. Марен хочется протянуть руку к Кирстен, сказать что-нибудь в утешение, но язык словно отнялся.

– Значит, она все-таки его любила, – бормочет мама, и Марен с трудом сдерживает себя, чтобы не нагрубить ей в ответ. Только дурак сомневался бы в том, что Кирстен любила мужа. Марен не раз видела их вдвоем: они разговаривали и смеялись, как лучшие друзья. Кирстен ходила с ним на поля, а иногда даже в море. Если бы она пошла с ним и в день шторма, женщинам Вардё пришлось бы еще тяжелее, чем сейчас.

Пастор Куртсон выходит вперед, благословляет могилу. Он глядит прямо перед собой, его челюсти сжаты. Кажется, он смущен тем, что Кирстен повела себя столь дерзким образом на глазах у гостей из Киберга.

– Да пребудет с тобой милость Божья, – произносит он нараспев своим блеклым голосом и бормочет молитву над человеком, которого даже не знал.

– Кирстен не стоило этого делать. – Дийна встает рядом с Марен и наблюдает за пастором, прижимая руку к животу. Ребенок родится уже совсем скоро, и горло Марен сжимается от печали: ее брату не суждено было увидеть собственное дитя. Ей хочется прикоснуться к Дийне, ощутить под ладонью тепло ее живота и ребенка внутри, но даже прежняя Дийна такого бы не потерпела. А эта новая Дийна и вовсе тверда, как камень, и Марен не решается к ней подступиться.

Больше никто, кроме Кирстен, не участвует в погребении своих родных. Мертвых хоронят мужчины из Киберга. Для них это просто работа, и они выполняют ее обстоятельно и методично: двое поднимают тело с земли и передают его двум товарищам, заранее спустившимся в яму. Женщины поочередно подходят к могилам, чтобы бросить первые горсти земли. Пастор Куртсон благословляет усопших. Никто не плачет, не падает на колени. Женщины измучены, стоят оцепеневшие. Торил молится непрерывно, ветер уносит ее слова прочь.

И вот пора выносить мертвых из малого лодочного сарая. Пастор Куртсон поднимает бесцветные брови при виде саванов из бересты. Мама трогает пальцем папин саван, смотрит на пастора и переводит взгляд на Марен.

– Может быть, попросить Торил...

– У меня не осталось материи, – говорит Торил.

– У нас есть парус...

– Нитки тоже закончились. – Повернувшись к ним спиной, Торил идет прочь, увлекая за собой сына и дочку. Зигфрид и Герда тоже отправляются домой. Марен уверена, что они с мамой и Дийной останутся совершенно одни и проводят своих мертвецов только вдвоем, но больше никто не уходит, и женщины Вардэ наблюдают, как Мадс Питерсон, потом папа и Эрик и, наконец, Бор Рагнвальдсон ложатся в землю.

Мужчины из Киберга уезжают с Вардэ в тот же день, и вечером Марен приходит к могилам, с прядью Эрика в кармане, чтобы похоронить ее вместе с ним. Она решила не оставлять эту прядь себе: слишком зловещая получается памятка. Может быть, это она отравляет сны Марен и выпускает в них море. Ночи уже не такие темные, как зимой, и в полумраке земляные холмы над могилами похожи на косяк горбатых китов, растянувшийся до горизонта. В этом тоже есть что-то зловещее. Марен замирает на месте и не решается подойти ближе.

Она знает, что это просто кладбище на освященной земле, благословленной служителем Божьим, и здесь нет ничего, кроме останков погибших мужчин. Но сейчас, в темноте, под свист ветра, продувающего весь остров, – не видя огней в окнах деревни, оставшейся далеко за спиной, – Марен боится войти на погост. Каждый шаг – будто шаг в пустоту с края утеса. Ей представляется, как земляные киты быют плавниками и рвутся вверх, и мир как будто качается у нее под ногами. В смятении Марен роняет прядь волос брата, которую держит в руке. Ветер подхватывает ее, невесомую, и уносит прочь.

* * *

Марен просыпается посреди ночи, разбуженная шумом у двери. Мама лежит, свернувшись улиткой под одеялом, ее несвежее дыхание бьет Марен прямо в лицо. Мама настойчиво требует, чтобы они спали в одной постели, хотя Марен, наоборот, так спится хуже.

Марен садится на кровати, все ее тело звенит от напряжения. Дверь закрывается почти бесшумно. Марен не видит вошедшего, чувствует только его присутствие. В темноте раздается

какой-то хрип, звуки тяжелого, почти звериного дыхания. Словно кто-то набил рот землей и нечаянно подавился.

– Эрик?

Может быть, это она призвала его из небытия, наложила заклятие молитвами и сновидениями? От этой мысли Марен становится жутко. До такой степени жутко, что она даже встает с постели, перебравшись через спящую маму, и тянется к папиному топору, но слышит тихий крик Дийны. Дийна стонет от боли и падает на колени. Теперь Марен уже различает ее силуэт в темноте. Духи мертвых не открывают двери в домах живых, мысленно попрекает она себя, и топор против духов бессилен.

– Я схожу за фру Олафсдоттер.

– Не надо, – с трудом выдыхает Дийна. – Ты сама.

Марен укладывает ее на оленью шкуру, расстеленную на полу у очага. Мама уже проснулась и принесла одеяла. Она греет воду, дает Дийне кусок сыромятной кожи, чтобы та прикусила его зубами, и что-то тихонько бормочет, пытаясь ее успокоить.

Им не понадобилась кожа: Дийна не кричит, только тяжело дышит. Ее дыхание похоже на поскуливание побитой собаки. Она тихо стонет, кусая губы. Марен сидит рядом, поддерживает ей голову, мама снимает с нее исподнее. Оно промокло насквозь. Запах пота Дийны забивает все остальные в доме. Она буквально исходит потом. Марен вытирает ей лоб чистой тряпицей, стараясь не смотреть на темный бугор у нее между ног, на мамины руки, покрытые чем-то влажным и липким. Марен ни разу не видела, как рождаются дети. Она видела только роды у животных, и детеныши часто появлялись на свет мертвыми. Она пытается отогнать мысли о дряблых языках, вываленных из безжизненных мягких ртов.

– Он уже почти вышел, – говорит мама. – Почему ты не позвала нас раньше?

Дийна, почти онемевшая от боли, все-таки шепчет:

– Я стучала в стену.

Марен шепчет всякие милые глупости на ухо Дийне, наслаждаясь их тесной близостью. Теперь это возможно: сейчас, когда Дийна почти теряет сознание от боли, она дает Марен себя обнять. Как раньше, в старые добрые времена. Сквозь тонкую занавесь на окне уже сочится бледный утренний свет, сливается с пляшущим огнем от пламени очага, и вся комната тонет в белесом дымчатом свечении. Марен будто окутана морем тумана, и Дийна цепляется за нее, как за якорь, который держит ее на месте и помогает бороться с приливами боли. Марен целует ее в лоб, чувствует соль на губах.

Когда надо тужиться, Дийна бьется как рыба, выброшенная на берег.

– Держи ее, – говорит мама, и Марен пытается ее удержать, хотя Дийна гораздо сильнее, а теперь, когда ее тело содрогается от боли, сильнее вдвойне. Марен сидит за спиной у Дийны, чтобы та на нее опиралась, и шепчет ей в шею слова утешения. Слезы Марен смешиваются со слезами Дийны, та снова дергается, как в припадке, и наконец издает крик, который сливается воедино с пронзительным воплем, вырвавшемся из зияющей темноты у нее между ног.

– Мальчик. – Радость в мамином голосе пронизана болью. – Мальчик. Мои молитвы услышаны.

Марен осторожно укладывает Дийну на пол, целует ее в обе щеки, слышит отчаянный плач ребенка и звон металла: это мама берет нож, чтобы перерезать пуповину. Потом хватает тряпицу и обтирает младенца от крови. Дийна держится за Марен, плачет еще сильнее, и Марен тоже плачет, их тела сотрясаются от рыданий: мокрые и совершенно измученные, и наконец мама легонько отталкивает Марен локтем и кладет малыша Дийне на грудь.

Он такой крошечный, хрупкий, еще масляный от плаценты. У него белые щеки и темные ресницы. Он напоминает Марен выпавшего из гнезда неоперившегося птенца, которого она однажды нашла на покрытой мхом крыше: тот был совсем голенький, с такой тонкой кожи-

цей, что сквозь закрытые веки виднелись глаза, и все его тельце сотрясало от сердцебиения. Марен взяла птенца в руки, чтобы вернуть в гнездо, и его сердечко остановилось.

Ребенок кричит, его плечики содрогаются от плача, маленький ротик хватается воздух. Дийна распускает ворот рубахи, достает грудь, помещает темный сосок в этот открытый голодный рот. У нее на ключице белеет участок сморщенной кожи, след от ожога. Марен знает, что кто-то швырнул в нее ковш с кипятком, но не помнит, кто именно. Ей хочется поцеловать этот шрам, разгладить его.

Мама закончила обтирать Дийну. Она тоже плачет, ложится на пол рядом с Дийной, и кладет руку поверх ее руки, лежащей на спинке ребенка. Замешкавшись лишь на секунду, Марен тоже кладет руку ему на спину. Он удивительно теплый, от него пахнет свежим хлебом и чистым бельем. Сердце Марен сжимается, ноет от непонятной тоски.

3 июня 1618

Глубокоуважаемый господин Корнет,

Пишу вам по двум причинам.

Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за любезное письмо от 12 января сего года. Я крайне признателен за поздравления. Мое назначение на должность губернатора Финнмарка – это поистине большая честь и, как вы очень верно заметили, замечательная возможность послужить Господу нашему и укрепить славу Его в столь беспокойном краю. Смрадное дьявольское дыхание ощущается здесь повсюду, и работы предстоит много. Король Кристиан IV борется за укрепление позиции Церкви, но его Закон против колдовства и волибы издан лишь в прошлом году, и, хотя он во многом основан на «Демонологии», ему пока недостает влияния, какового наш король Яков добился в Шотландии и на Внешних островах. Закон даже еще не объявлен в Финнмарке, вверенном моему попечению. Разумеется, как только я официально займу губернаторский пост, я приму меры, чтобы как можно скорее исправить это досадное упущение.

Тут мы вплотную подходим ко второму моменту. Как вам известно, я без преувеличения восхищен вашими действиями на суде над ведьмой по имени Элспет Рох, состоявшемся в Керкуолле в 1616 году. Молва о том разбирательстве дошла даже до нас. Как я уже писал ранее, в глазах почтеннейшей публики все лавры достались этому фату Колтарту, но я знаю, как много вы сделали для расследования, особенно на ранних этапах. Вы решительный человек, человек действия. Именно такие люди нужны Финнмарку: люди, способные неукоснительно следовать принципам «Демонологии». Люди, знающие, как выявить, доказать вину и предать справедливому наказанию тех, кто творит злодеяния с помощью богопротивной волибы.

Поэтому я предлагаю вам должность губернского комиссара под моим непосредственным началом, дабы окончательно изгнать из здешних земель все нечестивое зло, исходящее в основном от той части местного населения, каковое считается аборигенным в Финнмарке. Я имею в виду кочевую народность лапландцев. Они чем-то схожи с цыганами, но их волиба больше связана с ветром и заклинанием погоды. Как я уже писал выше, закон против их колдовства существует, но пока не вступил в должную силу.

Вы родом с Оркнейских островов, и мне не нужно вам объяснять, насколько суров здешний климат. Что касается климата в обществе, должен заранее предупредить: ситуация очень серьезная. После шторма в 1617 году (вы должны помнить, о нем писали даже в эдинбургских газетах; я сам был в море, и волнение ощущалось до самых Шпицбергена и Тромсё) женичины пострадавшего Вардё остаются предоставленными сами себе. Варвары-лапландцы свободно смешиваются с белым населением. Их колдовство – немаловажная часть того зла, против которого мы выступаем во имя Божие. Их заклинания погоды – поистине дьявольские деяния, и однако же к ним до сих пор обращаются моряки. Но я верю, что с вашей помощью

(я имею в виду лично вас и некоторых других весьма одаренных и сильных духом богобоязненных христиан) мы победим тьму даже в самую темную зимнюю ночь. Даже здесь, на окраине цивилизации, души людские должны быть спасены.

Разумеется, вы получите достойное вознаграждение за ваши труды. Я лично распоряжусь, чтобы вас обеспечили достойным жильем на Вардё, рядом с замком, где поселись я сам. Пять лет на должности комиссара, и я напишу вам рекомендательное письмо для дальнейшего продвижения на любом поприще, которое вы для себя изберете.

Возможно, вам лучше не распространяться о моем предложении: я уверен, что Колтарт так или иначе пронюхает об этой должности, но он вовсе не тот человек, который мне нужен.

Подумайте над моим предложением, господин Корнет. Я с нетерпением жду ответа.

Джон Каннингем (Ханс Кёнинг) губернатор провинции Вардёхюс

5

К тому времени, когда у Дийны рождается сын, Марен носит собственное тело, как тяжкий груз, иногда вызывающий жалость, иногда – отвращение. Оно голодное и непослушное, ее тело. Каждый раз, когда Марен садится или встает, между костями как будто лопаются пузыри, и их хлопки отдаются в ушах.

Горем сыт не будешь, хотя оно заполняет тебя целиком. Женщины Вардё терпели долго, старательно не обращали внимания на происходящее, но после шторма миновало уже полгода, и когда Кирстен Сёренсдоттер спрашивает разрешения обратиться к собравшимся в церкви, Марен наконец видит, как впали ее щеки, видит синие реки набухших вен на руках собственной матери. Может быть, все остальные тоже это замечают, потому что внимательно смотрят на Кирстен, сбросив сонное оцепенение после очередной вялой проповеди пастора Куртсона.

– Дальше ждать смысла нет. Если просто сидеть, ничего не изменится, – говорит Кирстен, словно продолжая прерванный разговор. Она хмурит брови, от чего ее маленькие голубые глаза кажутся еще меньше. – Соседи нам помогали, и мы благодарны им за доброту, однако всякая доброта имеет свои пределы. Нам надо справляться самим. – Она расправляет плечи, и слышно, как хрустят суставы. – Лед сошел, начинается полярный день. Четыре лодки готовы к выходу в море. Нам понадобится двадцать женщин. Может быть, хватит шестнадцати. Я буду первой. – Кирстен обводит взглядом собравшихся.

Марен ждет, что кто-то начнет возражать: Зигфрид, или Торил, или, может быть, пастор. Но он сам исхудал дальше некуда, а Кирстен говорит дело. Марен тянет руку вверх. Кроме нее, вызываются еще десять женщин. В этот момент ее накрывает точно такое же ощущение, какое бывает, когда сильный ветер норовит сбить тебя с ног и внезапно стихает, как только ты обретешь равновесие. Мама молча глядит на нее.

– Больше никто не пойдет? Дюжины человек хватит лишь на две лодки, – говорит Кирстен.

Женщины ерзают на скамьях, смотрят в пол.

* * *

Они думали, все решено. Но хотя пастор Куртсон промолчал в церкви, на собрании в среду Торил сообщает, что он все-таки обрел голос и написал письмо.

– Очень умно, – говорит Кирстен, не отрываясь от работы: она шьет рукавицы из тюленьей кожи. Наверное, чтобы не натереть руки о весла, думает Марен.

– Губернатору, который скоро поселится в Вардехюсе, – говорит Торил, и даже Кирстен прерывает работу и поднимает глаза.

– В крепости? Здесь? – Глаза Зигфрид горят в предвкушении очередной сплетни. – Ты уверена?

– Ты знаешь какой-то другой Вардехюс? – огрызается Торил, но Марен понимает, о чем спрашивала Зигфрид. Сколько она себя помнит, крепость все время стояла пустой.

Рядом с Марен Дийна с мамой тоже прерывают работу. Они втроем чинят старую сеть. Дийна сидит, разложив сеть на коленях, как подстилку для малыша Эрика, которого держит на полотняной перевязи. Она наклоняется над ним низко-низко, как птица, кормящая птенца.

Невозможно забыть последний раз, когда они так же сидели втроем за починкой паруса. Иголка жжет Марен пальцы. Мать Дага, фру Олафсдоттер, расставила у себя в кухне длинные скамьи, и женщины, приходящие на собрания, сидят на них, словно вдоль борта квадратной лодки. В очаге горит пламя, в его пляшущем свете пол рябит, как морская вода.

– Здесь поселится губернатор, Ханс Кёнинг. Он назначен приказом самого короля Кристиана, и нас ждут великие перемены. Так сказал пастор Куртсон. Великие перемены и новые, более строгие правила посещения церкви, – говорит Торил, пристально глядя на Дийну. – Губернатор намерен приструнить лапландцев и обратить нечестивцев к Богу.

Дийна ерзает на скамье, но выдерживает взгляд Торил.

– С такими помощниками, как Нильс Куртсон, у него ничего не получится, – говорит Кирстен. – Этот пастырь не доведет и теленка до пастбища.

Дийна фыркает в свое рукоделие.

– Пастор Куртсон сказал, он готовит специальную проповедь, чтобы вас остановить, – говорит Торил и щурится, глядя Дийне в затылок. – Губернатор наверняка сочтет вашу затею с рыбалкой недостойной.

– Он еще не губернатор. И достоинство нас не накормит, – говорит Кирстен. – А рыба накормит. И меня не волнует, что думает какой-то шотландец.

– Он шотландец? – удивляется Зигфрид. – Почему не норвежец или не датчанин?

– Он много лет прослужил в датском флоте, – говорит Кирстен, не отрывая глаз от работы. – Прогнал пиратов со Шпицбергена. Король сам его выбрал и наградил должностью в Вардехюсе.

– Откуда ты знаешь? – хмурится Торил.

Кирстен по-прежнему не отрывается от работы.

– Не только у тебя есть уши, Торил. Я говорила с матросами в гавани.

– Да, я заметила. – Торил поджимает губы. – Негоже так делать приличной женщине.

Кирстен пропускает ее замечание мимо ушей.

– И что бы там ни бубнил пастор Куртсон в воскресный день, все равно я его не услышу из-за громких рулад у меня в животе.

Марен все-таки удаётся подавить смешок. Если бы предложение выйти в море исходило не от Кирстен, а кого-то другого, его никто бы не принял. Но Кирстен всегда была женщиной твердой, упрямой и сильной, и воскресная проповедь пастора Куртсона уж точно не повлияет на их решимость. Он не получает ответа от губернатора, и Кирстен настаивает на своем.

* * *

В среду, вместо того чтобы идти на собрание, все восемь женщин, решившихся выйти в море, собираются на причале. Да, их только восемь. Четверо отказались рыбачить, узнав о письме пастора губернатору. Стало быть, в море пойдет лишь одна лодка.

Все рыбацки одеты в тюленьи куртки, шапки своих мужчин и неудобные толстые рукавицы, в которых пальцы почти не гнутся. У всех в руках весла выше их роста. Они стоят на

причале, смотрят на кучу снастей, перепутанных, как клочья волос, которые Марен ежедневно снимает с маминого гребня, сделанного из рыбьего хребта.

– Ну что ж. – Кирстен хлопает в ладоши. – Нам нужно три сети. Марен? Давай помогай.

У Кирстен крупные руки, но они гораздо искуснее и проворнее тонких рук Марен, чьи неумелые пальцы скользят и цепляются за плетеные ячейки. День на редкость погожий, небо светлое, в легком мареве облаков; пробирающий до костей холод, жавшийся к ним столько месяцев, наконец отступил.

Они раскладывают на причале три сети и прижимают по краям камнями, чтобы их не трепал ветер. Теперь сети надо подготовить: не свернуть абы как, а сложить по-особому, чтобы потом было проще бросить их в море. Кирстен показывает остальным, как это делается.

– Откуда ты все это знаешь? – удивляется Эдне.

– Муж меня научил.

– Зачем? – Эдне искренне потрясена.

– Как видишь, пригодилось, – огрызается Кирстен. – Так, беремся за следующую.

Женщины Вардё наблюдают за ними из окон, а пристальнее всех наблюдает пастор Куртсон, стоящий на церковном крыльце. Его худосочная фигура отбрасывает длинную тонкую тень, у него за спиной горят свечи, освещая большой деревянный крест. Кажется, что сама церковь глядит с осуждением.

Наконец сети уложены в лодку. Все рассаживаются по местам. Мама собрала Марен поесть, как собирала папе и Эрику: сухари, посыпанные семечками льна, кусок сушеной трески из последнего папиного улова. Она заявила об этом с гордостью, словно то было благословение, а не предвестие беды, как казалось Марен. За пазухой, прямо над сердцем, плещется легкое пиво в кожаной фляге.

Прежде чем забраться в лодку, Марен делает то, чего не делала несколько месяцев: смотрит прямо на море, что набегаёт на берег и небрежно оглаживает бока лодки старого Мадса мокрыми пенными пальцами. Нет, не пальцами, а *волнами*, поправляет себя Марен. У моря нет пальцев, нет рук, нет пасти, которая может открыться и проглотить тебя целиком. Море не смотрит, не наблюдает за ней: морю нет до нее дела.

Марен садится бок о бок с Эдне. Они берутся за весла и начинают грести. Никто из наблюдающих с берега не кричит: «В добрый путь!» – и не машет им вслед. Стоило лодкам отчалить, на них больше не смотрят.

Кирстен рассадил их так, чтобы они подходили друг другу по росту. Эдне с Марен ровесницы, более-менее одного роста, хотя Эдне немного худее. Марен приходится умерять темп своих гребков, подстраиваясь под Эдне, и судя по тому, какими резкими рывками движется лодка, женщинам с непривычки трудно приноровиться друг к другу и поймать общий ритм.

Сосредоточившись на движениях, Марен даже не замечает, как лодка отходит все дальше и дальше от берега. Уже совсем скоро они пройдут залив и окажутся в открытом море, где тюлени, киты и шторма. Где непроглядная толща воды, и на дне лежат мертвые рыбаки: те, кого море решило оставить себе.

Мышцы начинают болеть уже через пару минут. Хотя женщины Вардё привычны к работе, это совсем другой труд: налечь на весло, наклонившись вперед, тут же податься назад, затем снова вперед – раз за разом, – плечи и руки напряжены, тупая боль разливается по спине и по шее, а скамья под тобой с каждым мигом становится всё жестче и неудобнее. Над ними уже кружат птицы, пролетают так низко над лодкой, что Эдне каждый раз взвизгивает от испуга.

Марен слышит свое дыхание, хриплый свист, вырывающийся из легких струйками сперттого воздуха, дурно пахнущего, сухого, как пыль. Ее волосы намокли от пота, спина – от брызг морской воды, лицо уже онемело, а губы потрескались от соленого ветра. Теперь ей понятно, почему мужчины отпускают густые бороды: с голым лицом она себя чувствует беззащитной перед морем, как новорожденное дитя.

Они минуют последний утес на границе залива и внезапно выходят в открытое море. Ветер здесь крепче, волнение ощутимо сильнее. Кто-то из женщин испуганно вскрикивает, когда высокие волны начинают раскачивать лодку.

– Первая сеть. – Голос Кирстен по-прежнему тверд. Пока все остальные продолжают грести, Эдне с Марен разворачивают сеть, расправляют в четыре руки, словно готовятся застелить необъятную постель чистым бельем, и бросают сеть в море. Она ложится на волны, как тяжелое одеяло, и постепенно уходит под воду. Только один ее край держится на поверхности благодаря пробковым поплавкам. Теперь сеть тянется следом за лодкой на длинной веревке. Марен с Эдне переходят к другому борту и закидывают следующую.

– Бросайте якорь, – командует Кирстен.

Магда и Бритта, поднатужившись, переваливают через борт тяжеленный металлический якорь. Мужчины ушли бы еще дальше в море, где улов будет лучше, но женщинам страшно отплывать далеко от залива. Боль в руках Марен наливается тяжестью. Она возвращается на свое место и старается не смотреть на утесы, оставшиеся позади.

Теперь, когда брошены сети и лодка встала на якорь, среди женщин воцаряется почти что радостное настроение. Магда смеется, глядя на кружащих над ними птиц, и Марен тоже смеется, даже не понимая, что именно ее рассмешило. Они умолкают практически сразу, но никто не глядит на них с осуждением. Все улыбаются, делятся друг с другом едой. Облака разошлись, и, хотя Марен не чувствует солнечного тепла, ее нос все равно начинает краснеть. Она устала, но ей хорошо, и она даже ни разу не вспомнила о ките.

Спустя час или, может, чуть больше тень набегает на солнце, тучи затягивают все небо, на море вновь поднимаются волны. Все испуганно умолкают, но делать нечего: только ждать. Вдалеке виднеется Шпицберген, откуда, как говорила Кирстен, их будущий губернатор прогнал пиратов. Ближе к острову лед на море еще не сошел. Горизонт морозно искрится. Кажется, будто там край земли.

– Сети, – говорит Кирстен. – Пора.

Марен сразу становится ясно, что улов будет богатым. Тяжелая сеть оттягивает им руки, стертые до крови даже в рукавицах; ладони горят, но когда над зеленой водой поднимается плотный ком бьющихся рыбин, женщины не могут сдержать радостных криков, дерущих саднящее горло. Они тянут сильнее, быстрее и вываливают добычу на дно лодки.

Кроме трески и другой белой рыбы, годной для сушки, там есть и сельдь, плотная и серебристая, и три лосося, которые отчаянно бьются, пока Кирстен не хватает их одного за другим и не ударяет со всей силы о край борта лодки, дробя им черепа. Эдне зажмуривается, но Марен смотрит во все глаза и кричит вместе со всеми. Вторая сеть тоже полна больше чем наполовину: один-единственный морской окунь озадаченно трепыхается среди трески. Марен берет его чуть ли не нежно, крепко держит за хвост. С размаху бьет его головой о край борта, и звук удара отзывается дрожью в ее ноющем животе.

– Молодец, – говорит Кирстен, хлопнув Марен по плечу, и той на мгновение кажется, что сейчас Кирстен вымажет ей щеки кровью, как делают мужчины после удачной охоты.

Еще только начало смеркаться, и есть время, чтобы повторно забросить сети, но рыбакам не хочется испытывать свою удачу. Они разворачивают лодку к дому, и теперь сидят лицом к открытому морю, что разлилось до самого горизонта, лишь вдалеке смутно виднеется остров Хорнёя с его высокими скалистыми берегами. Эдне шепчет молитву, а Марен закрывает глаза, полной грудью вдыхает соленый воздух и налегает на весло.

Обратный путь выходит чуть быстрее, женщины принаровились друг к другу и гребут в одном ритме. Никто не ждет их на пристани, никто не встречает. Кирстен первой выбирается на причал, чтобы привязать лодку. Марен смотрит на темную воду и думает, что кит мог все время быть где-то рядом, мог увязаться за ними до самого берега, и теперь он поднимется на поверхность, ударит мощным хвостом и разнесет лодку в щепки.

Странно, размышляет она: они побыли в море всего полдня, но земля ощущается под ногами так чужеродно. Марен не понимает, как выдерживают матросы, когда им приходится сходить на берег. Зрители собираются только тогда, когда рыбаки перекладывают свой улов на причал. Торил вышагивает впереди. При виде сверкающей горы рыбы по толпе женщин, собравшихся у причала, проносится радостный гул, и Марен самой с трудом верится, что все это богатство они наловили сами.

– Слава Богу! – говорит Торил. – Господь дал нам пищу.

Но боль в руках Марен подсказывает, что это не Бог принес домой знатный улов.

Мама плетется, еле передвигая ноги, и тяжело опирается на руку Дийны, над плечом которой торчит голова малыша Эрика. Дийна хмурится, поджав губы. Она не любит оставаться наедине с мамой: в последнее время та стала рассеянной. Вечно путается под ногами, делает все не то и не так, штопает уже починенные носки, забывает закрывать крынки, и продукты в них портятся. Дийна предпочла бы пойти с другими женщинами в море, Марен в этом уверена.

Марен помогает сортировать рыбу, и сверх положенной доли Кирстен отдает ей морского окуня, которого она убила собственноручно. Марен хочется рассказать маме, но та отшатывается и от рыбины, и от нее.

– У тебя кровь на щеке, – говорит мама, отворачивается и идет к дому следом за Дийной.

Марен стоит в одиночестве и трет щеки руками.

Добравшись до дома, она разрешает Дийне помочь ей почистить и выпотрошить всю рыбу, кроме морского окуня. Этого окуня ей почему-то не хочется делить ни с кем. Она сама очищает его от чешуи, разрезает ему брюхо от раздробленной головы до хвоста, вынимает потроха. Кладет их на край деревянной доски и не дает Дийне их выбросить: они красные, синие, полупрозрачные. Марен бросает их в огонь и наблюдает, как они, сморщиваясь, превращаются в пепел.

В окуне много мелких костей. Марен вынимает их папиными щипцами из моржового клыка, а потом варит рыбу, хотя ее лучше бы закоптить. Но Марен хочется съесть ее сразу, пока свежая. Пока ее руки помнят, как эта рыбина билась в них еще живая.

Мама лежит на кровати, наблюдает за Марен, неодобрительно хмуря брови. Она не ест рыбу. В тот вечер она вообще ничего не станет есть. Она не спрашивает у Марен, каково было в море, не говорит, что она ею гордится. Она отворачивается к стене и притворяется, что спит.

В ту ночь Марен, как всегда, снится кит. У нее во рту привкус соли, руки ноют даже во сне. Но кит плывет, не выбрасывается на берег, и, хотя он весь черный, и у него пять плавников, ей вовсе не страшно. Она прикасается к нему ладонью, и он теплый, как кровь.

6

Следующие несколько месяцев отмечены странной пронзительной ясностью и вместе с тем как-то зыбко расплывчатой. Больше никто не заговаривает о том, стоит ли им ходить в море: они делают это раз в неделю, как по часам. К рыбакам присоединилось еще больше женщин, и теперь им хватает людей на три лодки. Дело снова идет к зиме, в уголках неба уже стужается темнота наподобие теней под стропилами высокой крыши.

Пастор Куртсон наблюдает за ними с узких ступеней церковного крыльца, по воскресеньям читает все более рьяные проповеди о добродетельном послушании церкви и ее служителям. Но хотя его пыл нарастает, Марен чувствует перемену среди женщин. Пробуждается что-то темное и первозданное, и Марен ощущает эту глубинную темноту и в себе тоже. Ей уже неинтересно, что говорит пастор, она целиком отдается работе: ловит рыбу, рубит дрова, готовит поля под посевы. В церкви ее мысли уносятся в море, точно лодка, не привязанная к причалу: она ощущает в руках тяжесть весел, по плечам разливается боль.

Она не единственная, кто теряет интерес к церкви. На собраниях по средам фру Олафсдоттер выпрашивает у Дийны, как саамы ароматизируют пресную воду, и просит Кирстен помочь ей вырезать костяные фигурки в память о муже и сыне. Когда Марен ходит на кладбище к папе и Эрику, она часто видит разложенные на земле рунные камни, вытесанные грубо и неумело. Несколько раз она находит на мысе лисьи шкуры и освежеванные тушки, оставленные на вершине утеса. Знаки поминовения, заговоренные амулеты: Марен помнит все это из детства.

В церкви она наблюдает за женщинами и гадает, кто из них убивает лисиц, снимает с них шкуры и оставляет на скалах, придавив камнем, как подношение ветру. Она спрашивает у Дийны, что означает освежеванная лисица. Дийна лишь выгибает бровь, пожимает плечами. В своем новом порядке женщины Вардэ обращаются к старым традициям: их как будто уносит назад, и они ищут, за что ухватиться.

Наверное, Торил об этом не знает, иначе она бы уже рассказала пастору. Сейчас, с приближением зимы, Торил и остальные «церковные кумушки», как их называет Кирстен, все больше и больше времени проводят в церкви, замаливая грехи, в наказание за которые Бог отобрал их мужей.

Раскол между женщинами деревни всё глубже, точно трещина в стене, по которой стучат беспокойные пальцы, и лишь сытые животы кое-как сглаживают нарастающие разногласия. Но они живы, они уцелели, напоминает себе Марен. У них налажен взаимный обмен: если тебе нужны шкуры, ты идешь к Кирстен и вымениваешь их на сушеную рыбу или на что-нибудь из одежды, которую ты в свою очередь выменяла у Торил на нитки из жил или на свежий мох с мелкогорья, куда Торил не ходит, потому что там всюду саамы, а в прежние времена, как поговаривают, там собирались ведьмы. Каждая из женщин Вардэ умеет что-то своё, полезное для остальных, и все они так или иначе полагаются друг на друга, кто-то больше, а кто-то меньше, в зависимости от сноровки и мастерства.

– Это победа, – говорит Кирстен на одном из собраний. – Что сказали бы наши мужья?

– Ничего хорошего, – отвечает Зигфрид. Она стала яркой приспешницей Торил, но не пропускает собраний, чтобы не упустить ни одной сплетни. – Пастор Куртсон говорит...

– Он собирается читать проповедь в канун Рождества? – спрашивает Кирстен.

– Да уж наверное, – кивает Зигфрид.

– Мне бы хотелось взять слово, – говорит Кирстен. – Высказаться о шторме. Наверное, у многих из нас есть что сказать. Время пришло. Я готова.

Марен обводит взглядом комнату. Все хранят молчание. У самой Марен нет правильных слов, чтобы высказаться о шторме, хотя прошел уже год. За этот год они столько о нем говорили, что вся острая горечь сгладилась от многочисленных повторений, как галька в море.

– Марен? – Кирстен глядит на нее, ждет поддержки. Но Марен нечего ей предложить, и всем остальным тоже. Все молчат, смотрят в пол. И Марен, и Эдне, и фру Олафсдоттер.

Наверное, все остальные тоже, как и она сама, находят какое-то подобие утешения в этом всеобщем молчании, размышляет Марен. Они все стоят в одном месте и глядят в одну точку. *Шторм грянул внезапно.* Как по щелчку пальцев. Марен не помнит, кто первым сказал эту фразу. Может быть, Торил. Или Кирстен. Может быть, даже она сама. Все с этим согласны: как по щелчку. Как будто случайно. Такое бывает, и тут уже ничего не поделаешь. Хотя это тоже своего рода трусость. Марен уверена, что все остальные презирают ее за подобные мысли, как она презирает их всех. Они как будто надели незримые шоры себе на глаза и связали себе языки, чтобы им не пришлось помнить, как все было на самом деле. Как лодки покачивались на волнах, а потом разом исчезли.

Марен смотрит в окно. Неотступная темень несет в себе серую мутную примесь: с севера идет туман. Он накрывает собою весь остров, превращает знакомые пейзажи в нечто странное и чужое, приносит промозглую стужу, проникающую под плотные юбки и шерстяные чулки.

Чуть дальше, за последним рядом домов, темнеет море. Теперь Марен наблюдает за ним еще пристальнее, чем прежде. Она учится равнодушию к морской стихии, и с каждым выходом в море за рыбой ей все проще не испытывать никаких чувств. Но грядет годовщина гибельного шторма, и Марен понимает, что ей не хочется думать о том, что забрало у них море, и уж тем более говорить об этом в церкви.

Она чувствует разочарование Кирстен, и когда все расходятся по домам, догоняет ее на пороге и прикасается к ее плечу.

– Извини. Я уверена, что пастор Куртсон позволит тебе говорить.

– Мне не нужно его дозволение, – говорит Кирстен, прищурившись. – Я еще подумаю.

* * *

Кирстен не берет слово на службе в Рождественский сочельник, хотя Марен хотелось бы ее послушать. Проповедь пастора Куртсона – совершенно бесцветная и заурядная – представляет собою расплывчатое повторение тех слов, которые он бормотал над могилами их сыновей и мужей. Эта проповедь не утешает Марен: в ней нет ничего о погибших мужчинах, нет ничего о скорбящих женщинах, потерявших опору в жизни. Сколько раз Марен выла от бессильной тоски, что папу и Эрика не вернуть? Пастор Куртсон никогда этого не поймет. И никто не поймет.

Марен наблюдает, как он наклоняется к полке под кафедрой и достает письмо с кисточкой и печатью. Она вдруг понимает, что немножко его ненавидит: за его слабость, за его власть над ними. За его постоянные разговоры о милости Божьей, хотя очевидно, что эта милость не распространяется так далеко на север. Прозревает ли Бог ее помыслы, видит ли Он, что творится у нее в голове? Марен сидит, затаив дыхание, и копается у себя в мыслях, словно пытаясь нащупать Бога, притаившегося внутри.

– Пришло вчера, – говорит пастор, разворачивая письмо. Печать такая тяжелая, что она перегибает пергамент почти пополам, и пастору Куртсону приходится держать его двумя руками прямо перед собой, и теперь Марен не видит его лица. – Наш губернатор скоро поселится в Вардехюсе, откуда будет управлять всем Финнмарком.

Торил ерзает на скамье, зыркает по сторонам, словно чтобы убедиться, что все помнят, кто первым сообщил им эту новость.

– А еще к вам в Вардэ, – продолжает пастор Куртсон, – едет назначенный губернатором комиссар, дабы надзирать над деревней на месте.

– Но, пастор Куртсон, – говорит Кирстен, – разве это не ваша задача как нашего доброго пастора?

– Возможно, он будет оказывать помощь в духовных вопросах, – хмурится пастор Куртсон, недовольный, что его перебили. – Но я остаюсь вашим пастором.

– Слава Богу! – говорит Кирстен с таким искренним пылом, что пастор даже немного теряется и делает строгое лицо, чтобы скрыть смущение.

Он убирает письмо, и, пока самые яркие церковные прихожанки вовсю предаются молитвам, Кирстен с Марен потихоньку выходят наружу. На улице такая темень, что им приходится стоять почти вплотную друг к другу. Так замерзшие звери жмутся друг к другу, чтобы согреться. У Кирстен отяжелевшие веки, усталый взгляд.

– Назначенный губернатором комиссар, – задумчиво произносит она. – Но ни слова о том, для чего он сюда приезжает.

– Может, он будет наместником губернатора. Как в Алте, где есть наместник, – отвечает Марен.

– На таком крошечном островке? – Кирстен качает головой. – Алта уж всяко побольше Вардэ. Зачем нам здесь надзиратель, тем более если сам губернатор поселится в крепости?

Они бросают недовольные взгляды в направлении Вардехюса, хотя туман такой плотный, что давит на веки, и у Марен слезятся глаза. Кирстен задумчиво смотрит на нее.

– Хочешь зайти ко мне в гости? У меня есть пиво и сыр.

Марен, конечно же, хочет зайти. Ей любопытно, как та обустроилась в доме Мадса Питерсона. Она часто задумывалась о том, как Кирстен справляется в одиночку с таким огромным хозяйством. И ей интересно взглянуть на оленей. Но мама скоро вернется домой и станет оплакивать папу. Марен не хочется, чтобы она оставалась одна.

– Я бы с радостью, но мне надо домой.

Кирстен кивает.

– Я вот думаю... Почему нам сообщили о комиссаре именно сегодня? Это, наверное, что-то значит?

Марен удивленно моргает.

– Ты никогда не была суеверной.

– Что-то явно начнется, но что – вот вопрос.

– Или закончится, – говорит Марен, встревоженная тоном Кирстен. – Круг завершится.

– У круга нет ни конца, ни начала. – Кирстен резко расправляет плечи. – Увидимся завтра.

Они расходятся в разные стороны в плотном тумане. Марен идет мимо тихих соседских домов, мимо дома фру Олафсдоттер, мимо дома Торил, идет на дальний конец деревни, где в узких окнах их дома пляшут бледные отсветы пламени очага, почти призрачные в неземной белизне тумана.

Марен хочется пройти мимо, хочется идти дальше – мимо пустого дома Бора Рагнвальдсона, – за край деревни, на мыс. Она с трудом заставляет себя открыть дверь и войти в вязкое, удушающее тепло. Мама подкладывает дрова в очаг, непрестанно трогает языком засохшую болячку в уголке рта. Тут же в комнате сидит Дийна, прижимая Эрика к груди.

– Я ей рассказала, – говорит мама, не поднимая глаз. – Про комиссара.

– И что ты думаешь? – спрашивает Марен.

– Ничего я не думаю. – Дийна втирает Эрику в десны гвоздичную пасту. Слюна, обильно текущая у него изо рта, в свете пламени кажется красной, как кровь. Марен хочется схватить Дийну за плечи и хорошенько встряхнуть. Она скучает по тем временам, когда они могли поговорить по душам. Марен надеялась, что рождение Эрика выведет Дийну из оцепенения, в которое она впала после гибели мужа, но та стала еще молчаливее, чем прежде.

– Зато новый человек, – говорит Марен, чтобы хоть что-то сказать. – Лишняя пара рук всегда кстати.

Мама опять трогает языком болячку в уголке рта. Все погружаются в привычное молчание, и никто больше не упоминает комиссара.

Им представляется, что комиссар будет точно такой же, как пастор: его присутствие повлияет на здешнюю жизнь не больше, чем снег, падающий в море. Им представляется, что жизнь на Вардэ так и будет идти своим чередом и что самое худшее уже позади. Им представляются всякие глупости, и только потом станет ясно, как сильно они ошибались.

15 января 1619

Уважаемый комиссар Вардехюса, господин Корнет,

Примите искренние поздравления с Новым годом!

Благодарю за письмо от 19 октября. Оно дошло весьма быстро, что воодушевляет. Ближе к зиме судоходство становится непредсказуемым.

Я рад, что вы приняли мое предложение, и прошу вас не мешкать с приездом. Я сообщу королю Кристиану о вашем согласии. Как вы знаете, я пользуюсь расположением при дворе, и

можете не сомневаться, что я назову ваше имя Его величеству. Пастор в Вардё уже поставлен в известность и готовится к вашему прибытию. Вас ждут великие свершения, и я надеюсь, мы с вами вместе докажем на деле, что, полагаясь на нас, шотландцев, Датско-Норвежское королевство сделало правильный выбор.

Прилагаю к письму дорожную грамоту до Бергена, где вы пересядете на корабль, идущий через Тронхейм до Вардё. Надеюсь, что путешествие будет не слишком вам в тягость. Я всей душой одобряю вашу идею о норвежской супруге, хотя для ее осуществления нет нужды забираться так далеко на север. В Бергене достаточно добродетельных барышень, каковые почтут за честь стать женой человека вашего положения. При вашей должности и деньгах, прилагаемых к данному письму на дорожные расходы, вы без труда найдете себе кого-то, кто согреет вам постель. И хорошо бы, чтобы ваша избранница умела петь. В здешних краях развлечений немного.

Передавайте поклон Колтарту, который, как я с удивлением узнал, читает ваши письма. Впрочем, здесь такого уже не будет.

Надеюсь, что скоро увижу вас лично.

Желаю вам доброго пути и с нетерпением жду встречи.

*Ханс Кёнинг,
губернатор провинции Вардехюс*

Берген, Хордаланн юго-западная Норвегия, 1619

7

Сиф растопила камин в большой гостиной и повесила лучшие шторы. Урса знает, что это значит: либо в доме кто-то умер, либо намечается свадьба.

– А может, к нам приедет какой-то важный господин, – говорит Агнете, когда Урса заходит в спальню с последним кувшином теплой воды и сообщает ей эту новость. – Или актриса?

Агнете только недавно узнала о существовании актрис: их отец организовывал отправку театральной труппы в Эдинбург на одном из своих оставшихся кораблей.

– Тогда это будет спокойный важный господин. Или же господин, пожелавший жениться на ком-то из нас, – говорит Урса, выливая воду в лохань. – То же самое касается и актрисы, только она не для нас, а для папы.

Агнете смеется и сразу морщится. Урса слышит, как у нее в легких булькает жидкость.

– Тише. Зря я тебя рассмешила. – Она помогает сестре сесть повыше и опереться спиной о подушки. Больная нога Агнете вяло тянется по кровати, и Урса расправляет смявшуюся простыню. – Сиф меня не простит. Давай, сплунь.

Она кладет руку на худенькую спину Агнете, наклоняет ее вперед и подставляет эмалированную плевательницу. Агнете кашляет и выплевывает сгусток мокроты. Урса чувствует, как у нее под ладонью гудят легкие сестры. Она закрывает плевательницу крышкой, не глядя, как велит Сиф: впрочем, она и так знает, какого цвета будет мокрота, если судить по тому, как хрипло Агнете дышала всю ночь.

Она снимает с Агнете ночную рубашку. От рубашки разит болезнью и кислым потом. Урса настолько привыкла к этому запаху, что замечает его только в банные дни, когда в комнате пахнет еще и лавандой, размоченной в теплой воде. Она помогает сестре забраться в лохань, переноса через край ее негнувшуюся ногу. Бортик с одной стороны специально срезан пониже.

Агнете все еще по-детски худая, нескладная и угловатая, без четко выраженной талии, без всяких выпуклостей и округлостей, хотя сама Урса уже была довольно пышной к своим тринадцати годам. Врачи, приходящие каждый месяц, всегда измеряют Агнете, но никто из них не видит ее голой, как видит Урса. Никто, кроме Урсы не знает, как ее тонкие косточки выпирают из-под бледной кожи, как ее больная нога сморщивается после купания, словно кожица на засыхающем яблоке.

– Умирать больше некому, – говорит Агнете, когда Урса кладет поперек лохани дощечку, чтобы сестре было на что опереться, пока ее будут намыливать. – Значит, готовится свадьба.

Урса думает так же и надеется, что Агнете не слышит, как больно колотится ее сердце.

– Знаешь, что, Урса? Мне кажется, папа нашел тебе жениха! – радостный голос Агнете звенит, как надтреснутый колокол. Хотя их разделяют целых семь лет, Урсе иногда кажется, что сестра чувствует то же самое, что и она, как это бывает у близнецов. Вот и сейчас Агнете прижимает руки к груди, точно в том месте, где болит у Урсы.

– Может быть.

Это значит, Агнете останется совсем одна в этом доме, и о ней будет заботиться только Сиф. Папа редко заходит к ним – разве что на минутку, чтобы пожелать им спокойной ночи. Даже если жених из Бергена, Урса все равно покинет родительский дом, и Агнете придется учиться спать одной в этой комнате и как-то себя занимать целыми днями. Но Агнете об этом не говорит, только кивает, и Урса льет ей на голову воду.

Она помогает сестре выбраться из лохани, вытирает ее полотенцем и подает чистую ночную рубашку. Когда Урса садится причесываться, Агнете говорит:

– Давай я тебя заплету? А то Сиф плетет слишком туго.

Руки у Агнете проворные, нежные. Она заплетает сестре косу, скручивает кольцом на затылке, закрепляет шпильками и смотрит на Урсу с такой гордостью и восторгом, что ей становится неловко.

Входит Сиф, смотрит на прическу Урсы, но ничего не говорит, лишь выразительно приподнимает бровь. Она сама строгая лютеранка, всегда одевается только в коричневые тона и прикрывает седеющую голову крахмаленным ослепительно-белым чепцом. Сиф пришла помочь Урсе одеться. Фыркнув на бледно-розовое хлопчатобумажное платье, которое Урса приготовила себе на сегодня, Сиф подходит к платяному шкафу, который они когда-то делили с матерью.

Он сделан из вишневого дерева, привезенного морем из Новой Англии, и покрыт темно-коричневым лаком, который напрочь перекрывает естественный цвет древесины; точно так же, как темно-коричневые платья Сиф делают ее саму абсолютно бесцветной. Но у дверных петель и на сочленениях изогнутых резных ножек видны небольшие участки матового густо-красного цвета.

Сиф вынимает из шкафа мамино любимое платье: желтое, с пышными присборенными рукавами.

– Ваш отец распорядился, чтобы вы надели именно это, – нехотя говорит она. – Вам предстоит познакомиться с джентльменом.

– С джентльменом! – Агнете приподнимается на подушках и хлопает в ладоши. – В маминном платье, Урса! Я сейчас буду плевать от зависти.

– В зависти, как и в плевках, нет добродетели, Агнете.

– С каким джентльменом, Сиф? – спрашивает Урса.

– Не знаю. Знаю только, что он добрый христианин. Не какой-то поганый папист. Ваш батюшка посчитал нужным сообщить мне об этом.

Агнете закатывает глаза, убедившись, что Сиф на нее не смотрит.

– Ты не выяснила ничего важного, Сиф?

– Уж и не знаю, что может быть более важным.

– Он высокий? Богатый? У него есть борода?

Сиф поджимает губы.

– Оно слегка тесновато, но переделывать времени нет. – Сиф делает знак, чтобы Урса присела, и через голову надевает на нее платье.

Сидя на корточках в шуршащем шелковом полумраке, Урса ждет, когда Сиф расправит платье, и не пытается ей помочь. Она делает глубокий вдох, надеясь услышать мамин запах сирени. Но юбки пахнут лишь пылью.

* * *

Когда Урсу зовут спуститься, дверь гостиной открыта, свет из комнаты льется в сумрачный коридор, застеленный ковровой дорожкой. Они с Агнете слышали, как как-то пришел и тут же метнулись к окну, но успели увидеть лишь широкополую черную шляпу, снятую за миг до того, как дверь распахнулась, а потом гость вошел в дом и скрылся из виду.

Агнете сжимает руки Урсы.

– Запомни все хорошенько.

Перила на лестнице гладкие, как стекло, и пахнут пчелиным воском, которым их натирает Сиф. В этот раз она явно перестаралась. Урса надеется, что ей не придется прикасаться к руке незнакомца. Конечно, нет. Но она все равно представляет, как он берет ее за руку, жирную от воска, и рука выскальзывает из его ладони. В воображении Урсы у него нет лица, но оно скоро появится. И лицо, и фигура, и голос, и запах.

К Урсе никто прежде не сватался и ей хотелось бы, чтобы отец что-нибудь рассказал ей о женихе заранее: кто он и откуда, как они познакомились? Может быть, это кто-то, кого она знает? Может быть, герр Касперсон, клерк из папиной конторы, приятный молодой человек с румяным лицом и застенчивой тихой улыбкой. Ему двадцать пять, он всего на пять лет старше Урсы. Ей мог бы понравиться такой мужчина, хотя у него есть дурная привычка потирать верхнюю губу большим пальцем, что придает ему вид хитреца и пройдохи. Но Урса могла бы попросить его бросить эту привычку. Он производит впечатление человека, который будет прислушиваться к советам жены.

Ступеньки тихо скрипят. Урса оборачивается, смотрит вверх на приоткрытую дверь их с сестрой спальни и представляет, как Агнете, затаив дыхание, прислушивается к ее шагам. Перед тем как уйти, Урса зажгла все свечи, но в комнате все равно было сумрачно, по углам притаились густые тени. Зима была долгой, и до сих пор все никак не уступит дорогу весне, и замерзшие окна наглухо задернуты плотными шторами. Хотя у них в доме всегда темновато, даже в самый разгар лета, когда на всех окнах раздвинуты занавески, и свет такой яркий, что Урсе постоянно хочется чихнуть. Возможно, следующим летом ее здесь уже не будет. Она будет скучать. Может быть, не по дому как таковому, а только по людям, живущим в нем.

Она на миг замирает, стоит, расправив плечи. Ей так странно и непривычно ходить по дому в узких шелковых туфлях и в тяжелом мамином платье с пышными рукавами.

Глухие, низкие голоса мерцают, как пламя в камине. Один голос папин, второй – тоже мужской, но это не герр Касперсон. Кто-то совсем незнакомый.

Только на самом пороге, уже готовясь войти в гостиную, Урса понимает, что они говорят даже не по-норвежски. *По-английски*, мысленно произносит она, выудив воспоминание из той части сознания, где живет память о маме, и где до сих пор все болит. Мама не умела читать и писать, но, будучи дочерью преуспевающего купца, хорошо знала английский язык и научила ему своих дочерей. Урса с Агнете подолгу практиковались в произношении, чтобы говорить бегло и почти без акцента. Урса тихонько щелкает языком и входит в комнату.

Он высокий, их гость. Такой же высокий, как папа, и почти вдвое шире в плечах. Он ей кланяется, а папа легонько подталкивает ее вперед, указав взглядом на стул. Урса садится и даже не успевает разглядеть лицо гостя.

Незнакомец и папа сидят бок о бок в обитых красным бархатом креслах с резными ручками. Урсе же достается жесткий стул без подлокотников. Она сидит очень прямо, сложив руки на коленях.

– Урсула. В честь святой Урсулы, как я понимаю. – У него сильный акцент, и ей приходится напрягать слух, чтобы хоть что-то понять, хотя говорит он не быстро. Наоборот, очень медленно, и эта тягучесть искажает слова. Он сидит, развернувшись боком к камину и к папе. Его голос гудит и клокочет. Урсе становится жарко, ее шея горит. Румянец на коже – как ком, вставший в горле.

Папа подает знак головой. Урсе надо ответить, хотя в словах гостя не было вопросительной интонации.

– Да, господин. И в честь созвездия.

– Созвездия?

Отец неловко покашливает.

– Урсула, это герр Корнет.

– Комиссар Корнет, – поправляет гость. – Авессалом.

Урса лишь через пару секунд понимает, что он назвал свое имя. Он произнес его, как «аллилуйя» или «аминь». Она поднимает глаза, смотрит смелее.

Он высокий и черноглазый. Ей трудно определить его возраст: не такой молодой, как герр Касперсон, не такой старый, как папа. По-своему он даже красив. Его простой, но хорошо скроенный сюртук не скрывает слегка намечающееся брюшко. Он полноват, но не как Урса.

Она смотрит на его профиль, на его резко очерченный мужественный подбородок, высокий лоб, прямой нос, темные, слегка кудрявые волосы.

– Комиссар Корнет прибыл к нам из Шотландии, – говорит папа. – Он займет важный пост в Вардехюсе.

– По приглашению самого Джона Каннингема, назначенного губернатором по высочайшему повелению вашего короля, – с гордостью произносит Корнет. Урса не знает, кто такой Джон Каннингем и где находится Вардехюс. – И мне потребна жена.

До Урсы даже не сразу доходит, что ей только что сделали предложение.

– Жена комиссара, – говорит папа с довольным видом. – Урсула? – Она слышит его вопросительную интонацию, знает, что надо поднять глаза, улыбнуться, уверить его, что она тоже рада. Она смотрит на свои руки, сложенные на коленях. У нее побелели костяшки пальцев. – Устроим все как можно скорее.

Мужчины говорят о делах: отец расспрашивает комиссара о его миссии, а тот интересуется, вправду ли на дальнем севере нет деревьев. Они отправятся на одном из кораблей отца. Урса пытается слушать, но слышит лишь нарастающий звон в ушах. Сиф слишком туго зашнуровала ей платье, она не может вдохнуть полной грудью. Она думает об Агнете, о ее влажном дыхании. Север. Неужели замужество уведет ее так далеко? Урсе представляется лед и тьма. Наконец папа все-таки вспоминает о ней и отпускает ее восвояси. Она встает так стремительно, что у нее кружится голова, и тихонько выходит из комнаты.

Жена комиссара. О лучшей доле нельзя и мечтать, Урса это знает, но ее все равно пронибает озноб. После маминой смерти у отца все валилось из рук, он потерял деловую хватку, одно ошибочное решение следовало за другим, и все постепенно пришло в упадок. Урса не слепая, она видит, что происходит: папа уволил всех служащих из конторы – всех, кроме герра Касперсона, – и распустил всех слуг, кроме Сиф. Прежде еженедельные визиты врачей сократились до одного в месяц. Большая гостиная почти постоянно закрыта, ее открывают лишь на Рождество или для редких почетных гостей. Папины плечи поникли, от него пахнет пивом. Наверное, ей действительно повезло с женихом. Это будет хорошая партия. Может быть, даже выгодная в денежном отношении.

Урса медлит в прихожей, подходит к вешалке для верхней одежды. От плаща Корнета пахнет мокрыми листьями. Она протягивает к нему руку, но не решается прикоснуться.

По лестнице она поднимается почти бегом, слишком быстро и громко. Агнете испуганно вздрагивает, когда Урса врывается в комнату и, закрыв дверь, судорожно хватается за пуговицы на платье.

– Что случилось? Он старый и страшный?

Ей надо скорее снять платье. Оно давит, мешает дышать. То ли это она разрастается в нем, распирая его изнутри, то ли оно потихоньку сжимается и усыхает. Голова разболелась от шпилек и тяжелой прически, и надо срочно освободиться от этого груза: распустить косу, любовно сплетенную сестрой, сбросить платье покойной матери. Как он здесь оказался, ее будущий муж? Как он нашел ее в их тихом доме на шумной улице Бергена?

– Поможешь мне?

Урса садится на кровать к Агнете. Та кое-как приподнимается на подушках, неуклюже пытается расстегнуть мелкие пуговицы, но на талии ткань натянута слишком туго. Пальцы скользят и срываются.

– Надо звать Сиф.

Урсе дурно, она задыхается в тесном платье. Она встает и подходит к окну. Ждет, когда он уйдет. Ее сердце колотится как сумасшедшее.

– Урса? Что случилось?

Внизу открывается дверь, ее будущий супруг выходит на улицу. Идет пешком, не берет экипаж. Урса глядит, как его голова в черной шляпе теряется в море других голов в черных шляпах.

– Урса?

Авессалом Корнет. Имя, совсем не похожее на молитву. Имя, звучащее как похоронный звон.

8

Урса ждет, что утро принесет с собой перемены, но следующий день – совершенно обыкновенный, ничего особенного не происходит. Сиф, как обычно, приходит будить их с Агнете с утра пораньше, раздвигает занавески на окнах, хотя теперь, когда прежние шторы пришлось заменить на дешевые хлопковые, утренний свет все равно проникает в спальню. Урса помнит те, старые шторы из плотного синего бархата, помнит, как она пряталась в их мягких складках, наблюдая, как мама сидит перед зеркалом и расчесывает свои густые светлые волосы, которые унаследовали обе ее дочери. Но пять лет назад синие шторы пришлось продать: и шторы, и туалетный столик, и даже серебряные расчески и гребни, – тогда папа вложил в очередное убыточное предприятие. Эта комната раньше была маминой гардеробной, а теперь здесь спят Урса с Агнете. Верхний этаж закрыт.

– Агнете в ее состоянии даже лучше внизу, – сказал папа, когда Урса начала возмущаться, что ей не хочется переезжать из своей большой комнаты. – Чем меньше лестниц, тем ей удобнее. И потом, слишком дорого выйдет топить камины на всех этажах. И какой смысл держать столько мебели в вечно пустующих комнатах? Я собираюсь ее продать, хотя, может быть, мы возьмем квартирантов. Тогда мебель понадобится.

Урса рада, что квартиранты так и не появились. Ей не хочется, чтобы в их доме спал кто-то чужой. Впрочем, теперь уже не придется об этом переживать, ведь совсем скоро она сама будет спать рядом с чужим человеком в своем собственном доме. При одной только мысли об этом у нее дрожат руки. Она надеется, что Авессалом Корнет будет недолго оставаться чужим.

Сиф ставит перед Агнете поднос с завтраком. Тот же самый серебряный поднос, на котором она вчера подавала чай гостю. Урса улыбается Сифу, оценив ее старания. Агнете опять плохо спала, ее ноги запутались в простынях. Урса расправляет ее постель и помогает сестре сесть, подложив ей под спину подушки. Сиф убирает плевательницу, встревоженно морщит лоб.

– После завтрака надо будет опять подышать паром.

– Нет, Сиф. Не надо. Пожалуйста, – говорит Агнете. У нее хриплый голос, в груди влажно свистит. – Я хорошо себя чувствую, честное слово.

– У нее до сих пор раздражение под носом, еще с прошлого раза, – говорит Урса. – Может, сегодня и вправду не надо?

– Врач сказал, каждый день. – Сиф поджимает губы. – И ей помогает.

– От этого пара мне больно, – говорит Агнете, когда Сиф уходит готовить горячую воду. Она прикасается к болячке под носом, где воспаленная кожа растрескалась и покраснела.

– Я знаю, – говорит Урса и гладит сестру по голове. Она мылась буквально вчера, но сегодня от нее опять пахнет потом. – Можно будет прикрыть тебе нос маминым шелковым платком.

– Голубым, да?

Урса открывает мамин шкаф. На верхней полке стоит деревянная коробочка с носовыми платками и прочими женскими мелочами, которые папа еще не успел продать. Урса берет любимый платок сестры и отдает ей. Агнете пропускает его между пальцами, прижимает к лицу.

– Ешь, Агнете.

– Нам надо говорить по-английски, – предлагает Агнете. – Тебе нужно практиковаться.

– Он шотландец.

– Но он все равно говорит по-английски?

– Да.

– Ну вот.

– Ну вот, – отвечает Урса по-английски. – Ешь, Агнете.

Агнете откусывает кусочек хрустящего хлеба.

– Он такой сухой!

– Хлеб – величайшая благодать, – говорит Урса с притворной строгостью, копируя интонации Сиф. Но рассмешить Агнете непросто: у сестры и так мало радостей в жизни, а теперь у нее потихоньку отбирают и то небольшое, что еще осталось. В прошлом месяце доктора запретили ей есть влажную пищу, и она до сих пор не привыкла к такой диете. Урса подозревает, что врачи сами не знают, как ее надо лечить. Вряд ли легким сестры станет хуже от горячего супа.

Сиф приносит большую миску с дымящимся кипятком и стеклянный флакончик, который оставил им доктор. Когда она собирается откупорить флакон, Урса протягивает руку.

– Спасибо, Сиф. Я сама.

Сиф, прищурившись, глядит на нее.

– Семь капель, так сказал доктор. Иначе оно не поможет.

– Я знаю.

Сиф кладет флакончик со снадобьем в протянутую ладонь Урсы, быстро целует Агнете в лоб и выходит из комнаты.

– Ты же не будешь мне капать все семь? Одной вполне хватит. – Агнете умоляюще смотрит на Урсу. Урса капает в воду четыре капли и крутит миску, чтобы желтоватое масло растеклось по поверхности. От запаха щиплет в носу и слезятся глаза. Она ставит миску на столик рядом с кроватью Агнете, помогает ей сесть и наклониться над паром. Агнете прижимает к носу мамин голубой платок.

Урса кладет руку сестре на лоб, чтобы ее поддержать, и накрывает ей голову полотенцем, чтобы не выходил пар.

– Дыши глубже.

Она прижимает ладонь к спине Агнете, слышит и чувствует на ощупь ее медленные, тяжелые вдохи, ее влажные хриплые выдохи. Она считает их вслух, и на сотом выдохе Агнете выныривает из-под полотенца. Ее лицо покраснелось от пара, слезы льют градом, платок весь мокрый. Она кашляет и выплевывает сгусток мокроты в чистую плевательницу, которую Сиф принесла вместе с завтраком.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашивает Агнете, когда Урса закрывает плевательницу крышкой и отставляет в сторонку.

– Я хотела спросить то же самое у тебя.

– Мне больно, в носу опять жжет, это кошмар и ужас, и жалко, что доктора совершенно меня не слушают. Теперь ты.

– Как я себя чувствую?

– Да!

– В связи с чем?

Агнете закатывает слезящиеся глаза.

– В связи с тем, что теперь у тебя есть жених, и ты совсем скоро выходишь замуж.

Несмотря на все жалобы, Урса слышит, что сестре дышится легче.

– Я себя чувствую, как и раньше. Хочешь сегодня спуститься вниз?

– Не хочу. Расскажи мне о нем.

– Я же почти ничего не знаю, – говорит Урса. – А все, что знаю, я уже рассказала вчера.

– Расскажи еще раз.

* * *

Урса рассказывает еще раз, потом – еще раз и еще. В тот день папа к ним не заходит – и на следующий тоже, – Сиф говорит, что он ходит в гостиницу к Авессалому, и они обсуждают приготовления к свадьбе. Агнете недовольна, что жених не ухаживает за невестой, и донимает Урсу расспросами.

– Почему он тебе не напишет?

– Мы с ним познакомились только позавчера.

– И все равно.

– Какой смысл мне писать? Я не умею читать.

– Он мог бы спеть серенаду. Или еще что-нибудь.

Урса пожимает плечами.

– Хотя это, наверное, неважно, – говорит Агнете. – Наверное, достаточно и того, что он увидел тебя и захотел на тебе жениться.

Да, наверное, в этом есть что-то романтическое, думает Урса. Когда человек тебя даже не знает, но уже любит.

– Интересно, а папа писал письма маме?

– Она тоже не умела читать. – Агнете мрачнеет, и Урсе становится ее жаль. – Может быть, и писал. Спроси у него самого.

Урса знает, что Агнете не спросит. И она сама тоже не спросит. Стоит упомянуть маму, и папа буквально разбивается вдребезги, даже теперь, по прошествии стольких лет. В последнее время Урса начала замечать, как он на нее смотрит: с ужасающей грустью в глазах. Она знает, что с каждым годом становится все больше похожа на маму. Может быть, папа поэтому так упорно ее избегает, хотя раньше он с ней разговаривал обо всем на свете. Раньше они были очень близки, а теперь его молчание стало заразным.

Сейчас все было бы по-другому, размышляет Урса. Все было бы иначе, если бы мама не умерла в родах. Если бы выжили оба: и мама, и их с Агнете маленький братик. Если бы папа не потерял все свои деньги. Если бы они все втроем – Урса, Агнете и их младший брат – прятались в складках синих бархатных штор и наблюдали, как мама расчесывает свои золотистые волосы, пока они не начнут потрескивать. Но Агнете все равно была бы больна. И она, Урса, все равно вышла бы замуж за незнакомца и уехала бы вместе с ним в далекие края, о которых даже не слышала.

Агнете внезапно хватается ее за руку.

– Ты же будешь по мне скучать, да?

Урса хочет ответить: да. Она хочет сказать, что сестра для нее как воздух. Что у нее нет и не будет подруги ближе. Но она не говорит ничего, просто смотрит в глаза Агнете, взяв ее тонкое лицо в ладони, и надеется, что сестра все понимает без слов.

* * *

Вечером накануне свадьбы они ужинают с папой в столовой, впервые за многие месяцы. Агнете выносят из комнаты вместе со стулом и спускают по лестнице. Это непростая задача, они все взмокли, пока дотащили ее до столовой, но вот наконец все готово, Агнете удобно устроена за столом на месте, ближайшем к камину. Сиф укутывает ее шалью и стоит чуть поодаль, пристально наблюдает за своей подопечной, готовая в любую секунду броситься ей на помощь, словно Агнете может свалиться со стула, опрокинувшись, будто лодка на бурных волнах.

Но Агнете сидит прямо и даже почти не кашляет. Отец наливает Урсе крошечную рюмочку аквавита. Он горький, как лекарство, но она заставляет себя проглотить обжигающую горло жидкость, и едкий жар сменяется мягким теплом в животе.

Осмелев от выпитого аквавита и от присутствия Агнете, Урса спрашивает у отца, как он познакомился с Авессаломом Корнетом. Агнете прекращает жевать и внимательно слушает. Урса знает, что сестра представляет себе всевозможные романтические сценарии.

– Мы познакомились в гавани, – говорит папа, не глядя на Урсу. – Он увидел мой крест, подошел и похвально о нем отозвался.

Этот крест папа носит в жилетном кармане, на блестящей часовой цепочке. Урса знает, что папа частенько его вынимает и безотчетно сжимает в руке: благочестивый нервный тик.

– Он рассказал о своей миссии в Вардё, куда Бог назначил его на служение.

– Я думала, его назначил губернатор, – говорит Урса, подмигнув Агнете. Но папа не принимает шутливый тон и наливает себе еще рюмочку аквавита.

– Над губернатором стоит король, а над королем – Бог.

– Смотри, как бы твой муж не расплющился всмятку, – говорит Агнете, подмигивая в ответ. Урса берет ее за руку под столом. У Агнете такая мягкая рука, что Урсе хочется прижаться к ней щекой, поцеловать и никогда не отпускать.

– Он искал подходящий корабль и невесту...

– Именно в таком порядке? – шепчет Урса, и Агнете фыркает так внезапно, что заходится кашлем. Сиф бежит к ней с плевательницей наготове, и Урса еще крепче сжимает руку сестры, пока приступ кашля не отступает. Папа опрокидывает в себя рюмку и говорит, обращаясь скорее к себе самому, чем к дочерям:

– Я предложил ему проезд до Вардё по хорошей цене.

«А заодно и меня», – мысленно добавляет Урса.

Агнете надо отнести наверх, и Урса решительно заявляет, что сделает все сама. Ей приходится подоткнуть юбки повыше, чтобы не споткнуться на лестнице. Сестра у нее на руках вся горячая и почти невесомая, как новорожденный щеночек. Агнете обнимает Урсу за шею тонкими, как веточки, руками и бормочет сквозь хрипы в груди:

– Не очень-то романтично, да?

– Мне нормально, – говорит Урса.

Агнете разочарованно морщит нос.

В кои-то веки Агнете спит крепким сном, зато Урсе, взбудораженной аквавитом, не спится. Она потихоньку встает с кровати, подходит к окну и прижимается лбом к холодному стеклу. Из окна виден порт. На таком расстоянии корабли у причала кажутся совершенно игрушечными. В порту всегдалюдно и шумно, работа кипит даже ночью. «*Мир живет своей жизнью*», – думает Урса, и у нее в животе, отяжелевшем то ли от стряпни Сиф, то ли от страха, пробивается тихая радость, что скоро ей предстоит сделаться частью этого необъятного мира.

* * *

Когда утром Урса покидает дом, он уже начинает казаться пейзажем из сновидения: здесь все знакомо, но все какое-то странное и чужое. Видимо, потому что она уезжает, далеко и надолго. «*Может быть, навсегда?*» — Урса гонит прочь эти мысли. Она дочка судовладельца: конечно, она вернется домой.

Папа подходит к Урсе в коридоре и прикасается к ее руке, что в последнее время бывает так редко.

– Твоя мать... – говорит он, быстро взглянув на Урсу, и не может продолжить, словно у него в горле встал ком, перекрывший дыхание.

Урса надеется, что продолжения не будет, потому что ее глаза и так опухли от слез после прощания с Агнете. Не помогли даже холодные примочки, которые ей сделала Сиф. Папа берет Урсу за руку, ведет к себе в кабинет, где царит полумрак, зажигает лампу на секретере, вынимает из ящика что-то маленькое и блестящее.

– Это должно быть у тебя.

Это крошечный стеклянный флакончик, когда-то стоявший на мамином туалетном столике. Когда мама была жива, когда столик еще не продали. Урса открывает флакончик и прижимает к запястью почти выдохшийся аромат сирени.

– Спасибо, папа.

Она надеется, что теперь папе будет легче. Теперь ему больше не надо переживать, как прокормить и одеть старшую дочь. Может быть, он наймет для Агнете служанку, чтобы Сиф не приходилось справляться одной. Все решилось так быстро, что у них даже не было времени дать объявление о свадьбе в газету, и, хотя все приданое Урсы состоит из морской перевозки на север, флакона духов и платья умершей матери, все равно это хорошая партия. Ее муж – комиссар, назначенный на эту должность по личному ходатайству самого губернатора.

Папа целует ее в лоб. Его руки дрожат, от него пахнет застарелым пивом: едким солодом и дрожжами. Позже, на венчании в церкви, муж, скрепляя их брак, целует ее в то же самое место на лбу. От него не пахнет ничем. Он чист, как снег.

9

Ложиться спать еще рано. Корнет провожает Урсу до двери в их комнату в гостинице и велит ей готовиться ко сну, пока он ненадолго спустится в таверну.

Урса старается приготовить себя как можно лучше, наносит по капельке маминых духов с ароматом сирени себе на запястья и на тонкую, нежную кожу за ушами, где бьется пульс. Она представляет, как Авессалом, ее муж, будет ее целовать, и у нее дрожат руки. Ночная рубашка из плотного выбеленного льна царапает кожу на плечах и груди. Эта рубашка с высоким закрытым воротом как будто и вовсе не предназначена для сна, но это свадебный подарок от Сиф, и, наверное, так положено.

Сиф сама накрахмалила рубашку: потратила время, которого ей и так вечно не хватает. Урса чувствует запах варева из отрубей, представляет, как Сиф вымачивала рубашку в крахмальной воде все три дня, что прошли между обручением и венчанием. Рубашка по-прежнему источает кисловатый запах, хотя Сиф терла ее на стиральной доске и полоскала в трех водах. Урса расправляет кружева на груди, и они громко хрустят.

Агнете отдала ей свой любимый мамин носовой платок: шелковый голубой. Он был завязан в узелок, и внутри что-то звенело. Пять скиллингов, доля Агнете, выданная ей папой после продажи маминых вещей.

– Я их не возьму.

– Нельзя уезжать далеко, не имея средств для возвращения.

– Я могу попросить денег у Авессалома.

– У тебя должны быть свои, – сказала Агнете, хотя она знает о ценах на корабельные перевозки не больше самой Урсы. – На всякий случай.

Урса глядит на свое отражение в темном и грязном оконном стекле. У отражения маленькие злые глаза, губы дрожат, как у обиженного ребенка. Урса задергивает тонкую занавеску.

Ее муж так гордится своей почетной должностью, но у него вовсе нет тяги к роскошной жизни. Гостиница, где он поселился, находится на расстоянии запаха от торгового порта, с его вездесущим смрадом табака и разложения. Запахи вместе с промозглой прохладой проникают в комнату сквозь прогнившую оконную раму. Урса прижимается носом к запястью, надушенному мамиными духами.

Аромат сирени будит воспоминания о прежних счастливых днях, когда мама была жива, когда даже в долгие мрачные зимы их дом сверкал и искрился, как рождественская елка, а летом все комнаты были пронизаны мягким светом, и у них было четверо слуг и кухарка. Мама с папой принимали гостей: купцов и судовладельцев с их нарядными женами, и Урсе разрешали сидеть с ними в гостиной до ужина и слушать взрослые разговоры.

Она не особенно задумывалась о том, как пройдет ее свадебный завтрак, но предполагала, что он будет похож на те званые ужины у них дома. И что там будут другие гости, кроме Сиф, папы и Агнете, задыхавшейся от студеного воздуха. Хотя у Урсы нет подруг, и папа давно перестал выводить дочерей в свет, ей все равно рисовались в воображении нарядные дамы с золотистыми волосами, уложенными в красивые прически; мужчины в праздничных сюртуках и рубашках с накрахмаленными рифлеными воротниками, похожими на перья вstopорщенных белых птиц. Ей представлялись подарки: отрезы яркого шелка и засахаренные сливы. От гостей пахнет лавандой и хорошей помадой для волос, стол ломится от яств. Там и жареный гусь, и шпинат под сливочным соусом, и целиком запеченный лосось с лимоном и шнитт-луком, и морковь со сливочным маслом. В мягком свете свечей все как будто подернуто позолотой и пронизано волшебством.

Чего она совершенно не представляла, так это крошечный зальчик в гостиничной таверне, ближайшей к церкви и гавани, и бутылку бренди, которую мужчины распили вдвоем. Папа сидел с затуманенным взглядом и предавался бессвязным воспоминаниям. В пляшущем на сквозняке свете пламени он выглядел старым. Камин шипел и плевался сажей. По ногам тянуло холодом. Свечи, слепленные из расплавленных огарков, напоминали пеньки: их желтый свет навевал тоску.

Когда пришло время прощаться, Корнет отвернулся, словно слезы жены были чем-то неприличным. Агнете стояла сама, чтобы показать, что она может стоять без посторонней помощи, и только оперлась на руку Урсы по пути к экипажу. Папа был слишком пьян, но они с Урсой простились еще у него в кабинете. Им с Агнете больше нечего было друг другу сказать, они просто стояли, обнявшись, пока Сиф не оттолкнула их друг от друга, мягко, но непреклонно.

– Прощайте, госпожа Корнет.

Экипаж тронулся с места, и вот их уже нет.

Урса представляет своего мужа: как он сидит за столом в таверне, кольцо, которое она надела ему на палец, с тихим звоном стучит о бокал. Может быть, он скажет тост в ее честь. По обычаю имянаречения в его стране, который она приняла, сделавшись его женой, она теперь госпожа Авессалом Корнет. Она потеряла себя в его имени.

Она надеется, что сумеет ему угодить, и знает, что первый супружеский долг ей предстоит исполнить уже этой ночью, в этой сумрачной комнате с огромной кроватью, в этой гостиной в бергенском порту, где ждет корабль, на котором они поплывут в Финнмарк, и вода в море такая холодная, что даже здесь слышно, как портовые рабочие сбивают лед с корпусов кораблей. Урса не знает, что именно будет происходить, Сиф ничего ей не сказала, пробормотала лишь пару фраз, густо залившись краской: *ночная рубашка, постель, не смотреть на него слишком пристально, чтобы не показаться нескромной. Когда все закончится – обязательно помолиться.*

Урса задвигает под кровать ночной горшок, убирая его из виду. Перекладывает грелку с одной стороны постели на другую. На матрасе виднеются какие-то бледные желтоватые пятна, местами из-под протершейся ткани торчит солома. Сероватая наволочка на подушке ее пугает. Урса оборачивает подушку своей старой ночной рубашкой.

Она ложится в постель и аккуратно раскладывает волосы по плечам, как нравится Агнете. Она всегда говорила, что, когда волосы Урсы рассыпаны по подушке, кажется, будто она лежит в поле сияющей золотистой пшеницы. Свет, идущий от порта, периодически бьет в окно, сквозь

тонкие деревянные стены слышатся хриплые голоса, говорящие по-английски, по-норвежски и по-французски, и еще на каких-то других языках, которые Урса не знает.

Снаружи доносится странный треск, похожий на скрип ступеней на лестнице у них дома или на хруст в коленях у папы, когда он садится или встает. Урса долго не может понять, что это за треск. Может быть, это трещит у нее в голове? Но потом она понимает: это льдины бьются о корабли.

Скоро она выйдет в море, полное трескучего льда, и уплывет далеко-далеко: прочь от Агнете, и папы, и Сиф, прочь от отчего дома на улице Конге, прочь от Бергена с его широкими чистыми улицами и гудящим портом. Прочь от лучшего города на свете, от всего, что она знала в жизни. В дальнюю даль... но куда? Урса совершенно не представляет себе Вардё, где ей теперь предстоит жить. Не представляет, какой у нее будет дом, и каких она встретит людей.

Треск льда нарастает, заглушая собою все. Урса прижимает к лицу запястье, вдыхает запах сирени, пьет воздух, как воду.

* * *

Она просыпается от скрипа двери и дрожащего света свечи. Перевернувшись на бок, она тянется к Агнете. Ночная рубашка смялась и сморщилась у нее под щекой. Ее руки холодные, как ледышки. В крошечном круге света от свечного огарка раздевается Авессалом, *ее муж*. Кажется, он нетвердо стоит на ногах. Никак не может расстегнуть ремень на брюках.

Урса не шевелится. Почти не дышит. Она сама не заметила, как уснула, и ее волосы, аккуратно уложенные на подушке, теперь сбились и легли ей на шею, словно захлестнули петель. Ночная рубашка задралась почти до талии, но Урса не решается ее одернуть.

Авессалом Корнет уже снял брюки, и теперь, когда глаза Урсы привыкли к тусклому свету, она видит, что вместе с брюками он снял и исподнее. У него очень бледная кожа. Он похож на моллюска, которого вытащили из раковины. Он подходит к кровати, и Урса закрывает глаза. Когда он ложится, под его весом матрас проседает, испуская душок несвежей соломы.

Прежде чем лечь, он приподнял одеяло, и на Урсу повеяло холодом. Но ее тут же бросило в жар, ее щеки горят огнем, ведь он наверняка ее видел: видел ее задравшуюся рубашку, ее спальные панталоны с детскими ленточками-завязками. Комната уже успела наполниться едким запахом алкоголя и дыма. А ведь он совсем не производил впечатления человека, любящего приложиться к бутылке. Ее сердце колотится так, что удары отдаются резкой болью в ушах.

Он лежит рядом, просто лежит. Ничего не происходит. Может быть, он уснул? Урса приоткрывает один глаз. Нет, он не спит. Лежит и глядит в потолок. Дышит ритмично и глубоко. На руке, вцепившейся в одеяло, побелели костяшки пальцев. Урса вдруг понимает, что он тоже нервничает. Вот почему он выпил так много и пришел так поздно. Возможно, она у него будет первой. Она собирается с духом, чтобы повернуться к нему, может быть, тронуть его за плечо, сказать ему, что она тоже робеет, но тут он сам поворачивает голову и смотрит прямо на Урсу.

Она знает этот мужской взгляд, она видела, как меняются глаза у гостей, приходивших на званые ужины к ним домой: они приходили трезвые, а затем ясный взор менялся на подозрительно яркий блеск, когда они уходили, пошатываясь. Ее муж переворачивается на бок, лицом к ней, и его взгляд становится острым, пронзительным. Она вспоминает, что говорила ей Сиф: не смотреть ему в глаза, – и поспешно одергивает задравшуюся ночную рубашку.

Внезапно он приподнимается на локте и падает на нее сверху. Он такой неуклюжий, такой тяжелый. Ей кажется, он расплющил ей грудь. Она не может дышать и делает резкий, судорожный вдох, только когда ощущает бедром его твердую горячую плоть. Вдох превращается в тоненький крик. Авессалом возится с лентами на ее панталонах. Не сумев развязать, просто рвет; и они поддаются. Он копошится на ней, но ее тело так легко не сдается.

Она снова кричит. Она даже не знала, что умеет вот так кричать. От этого звука ей страшно, собственный крик гораздо страшнее того, что с ней делает муж. В голове бешеным вихрем проносится мысль: он ее проткнул, пробил насквозь. В ее теле есть место, о котором она даже не подозревала – такое нежное и уязвимое, что ей хочется плакать.

Он вжимается лицом в ее волосы, разметававшиеся по подушке, его горькое дыхание щеко-чет ей ухо. Он сжимает ее плечи и с ужасающей силой бьется грудью о ее грудь. Она старается отрешиться от происходящего, не думать о раскаленном острие боли, которую он вбивает в нее все глубже и глубже. Ее ноги, прижатые к постели его ногами, сводит судорогой. Когда она пытается пошевелиться, он слегка приподнимается и кладет ладонь ей на грудь. Она понимает, что это значит: он велит ей лежать и не двигаться.

Кровать жутко скрипит, этот скрип напоминает ей крики зверя, попавшегося в капкан, и наконец прорываются слезы. Горячие слезы от боли и унижения. Внезапно он вздрагивает всем телом, его стон обжигает ей ухо.

Когда он выходит, ей почти так же больно, как было, когда он входил.

Он неловко встает и справляет малую нужду в ночной горшок. Урса слышит, что струя льется мимо. У нее между ног растекается теплая лужица: кровь и что-то еще. Что-то чужое, не принадлежащее ей самой.

Когда он надевает ночную рубашу, задувает свечу и почти падает на постель, не касаясь ее, Урса переворачивается на бок и лежит, подтянув ноги к животу, чтобы унять саднящую боль в том месте, о существовании которого она даже не знала до нынешней ночи.

Да и откуда ей было знать, что происходит в супружеской спальне? Лишь теперь ей открылась ужасная правда, известная каждой жене: муж пробивает дыру в твоём теле и заполняет ее собой. Неужели именно так получают дети? Она кусает себя за руку, чтобы не разрыдаться. Как рассказать обо всем Агнете? Как ее предостеречь, что даже с мужчиной, назначенным комиссаром по ходатайству высокопоставленного губернатора, с мужчиной, чья борода пахнет чистым свежим снегом, с мужчиной, который молится истово, словно пастор, ты все равно не ощущаешь себя в безопасности? Сквозь тонкие шторы уже сочится первый утренний свет. Авессалом Корнет, лежащий рядом, широко открывает рот и начинает храпеть.

10

На корабле свои порядки, своя иерархия. Строже, чем в самых строгих домах. Может быть, строже, чем в монастыре. Урса мало что знает о мире, но ей представляется, что ни одно государство на свете не управляется такой твердой рукой, как судно.

В самом низу стоят юнги, мальчишки двенадцати-тринадцати лет, которые дряют палубы и карабкаются на мачты: даже с корабельным котом обращаются лучше. Они принимают побои и ругань смиренно, как трудовые лошади – такие же жалкие и бессловесные. Над юнгами стоят матросы, они старше и опытнее. Они выполняют свою работу в слаженном ритме, неуловимом для глаза Урсы.

Капитан для них – царь и Бог. Вернее, он выше царя, но все-таки ниже Бога. Бог для них – море, оно дарит милости и несет гибель, о нем всегда говорят с уважением, почтительно понизив голос. Урса не знает, каково ее место на корабле – каково место ее супруга, – наверное, им здесь места и вовсе нет.

У нее не укладывается в голове, почему люди по собственной воле выбирают жизнь в море. Стоило ей лишь подняться на борт «Петрболли», и ей сразу же захотелось с него сойти. Здесь все кажется грозным и хмурым: от темного дерева до липких металлических поручней.

Даже Урсе сразу понятно, что это какой-то совсем примитивный корабль. Нельзя сказать, что папа не постарался: постель застелена чистым льняным бельем, и он передал Урсе маленький дорожный сундук вишневого дерева, точно такого же, из которого сделан мамин

платяной шкаф. Сундучок заперт на крошечный латунный замочек, ключ от которого есть только у Урсы. Внутри лежит мамин флакон духов, голубой носовой платок, и деньги, подаренные Агнете. Но эти милые мелочи не меняют общую удручающую картину. Наоборот, так даже хуже. В каюте темно, пол очень скользкий, сама каюта такая тесная, что если муж Урсы встанет, вытянув руки в стороны, он сможет коснуться сразу двух стен, а когда ляжет в постель, его ноги будут свисать с койки.

Урса знает: это лучшее, что они могут себе позволить. Есть корабли побогаче, где каюты уютнее, только им они не по карману. Урса мысленно задается вопросом: может быть, Авессалом уже сожалеет о папином предложении? Это даже не торговое судно, предназначенное для перевозки дорогих товаров; их груз – древесина, которую добывают в лесах Кристиании и переправляют на север, где вообще нет деревьев. Эта мысль для Урсы такая же чуждая, как и море: Берген стоит в окружении лесов.

Уже не впервые Урса тихо радуется про себя, что родилась не мальчишкой, и ей не пришлось обучаться корабельному делу. Не пришлось привыкать к шаткой палубе корабля, замещающей морякам твердую землю. Здесь все так ненадежно, так зыбко: вот ты сидишь с мужем и капитаном в его капитанской каюте, пьешь чай, и, хотя роговый фонарь качается над головой, а чашки крепятся к столешнице с помощью крошечных реек – иначе они будут скользить по столу, – все равно можно вообразить, будто ты пришла в гости в приличный дом, а потом неожиданно мир опрокидывается набок.

И еще шум. Не только звуки моря, с которыми они познакомилась ночью в портовой гостинице, но и звуки, издаваемые людьми. Здесь так много мужчин, и от них столько шума: грохот тяжелых шагов отовсюду; мужской смех, всегда слишком громкий и слишком долгий; их крик, когда они тянут канаты, чистят палубы или ворочают груз в трюме. Доски и бревна надо переворачивать как минимум раз в два-три дня и проверять, нет ли гнили. Каждый день в трюм запускают кота, чтобы он гонял крыс.

Этот корабль не предназначен для пассажиров. Их каюта – закуток в спальном трюме, отделенный от общего помещения тонкой стеной из наспех сколоченных досок, которые вечно трясутся и коробятся на стыках. У них общий вход, налево – дверь в их каюту, направо – кубрик. Урса почти не выходит, а если выходит, то только дождавшись, когда в кубрике будет пусто, но матросы на корабле спят по очереди, и она все равно мельком видит, как кто-то лежит в гамаке, словно в огромном плетеном коконе. Гамаки подвешены так близко друг к другу, что спящие напоминают летучих мышей, теснящихся в темноте. Но хуже всего – ночной шум, громкий храп и другие телесные звуки, без труда проникающие сквозь дощатую перегородку. От этих звуков у Урсы горят щеки, и все напрягается внутри.

Матросы, при всей своей неотесанной грубости, обращаются к ней «госпожа Корнет» и почтительно кланяются при встрече, но в постели с мужем она знает свое истинное место. Сначала ей кажется, что она делает что-то не то. Хотя теперь муж дает ей минутку, чтобы снять панталоны – после их первой ночи, когда он порвал ей белье, – и она поняла, что надо расставлять ноги шире, чтобы не чувствовать себя пойманной в капкан, а волосы стоит закалывать шпильками, чтобы они не попадали ему под руки, – ей все равно каждый раз больно. Даже если потом не идет кровь, между ног постоянно саднит.

Каждое утро, поднявшись с постели, каждый вечер перед сном и после каждой трапезы Авессалом падает на колени и молится с такой истовой сосредоточенностью, что, случись рядом пожар, он бы, наверное, и не заметил, как огонь лижет ему подметки. Он никогда не проявлял к Урсе столько страсти, сколько вкладывает в это занятие. Его губы движутся, беззвучно выговаривая слова, сложенные для молитвы ладони прижаты ко лбу. Урса мысленно проклинает все эти истории о великой любви, которые обожают Агнете, и нежные взгляды, которые мама посылала отцу, и непристойные смешки молоденьких служанок на кухне (пока у них еще были служанки), когда в дом приходил посыльный из бакалей.

Они ведь знали, что такое любовь? Знали и все время лгали?

* * *

Чтобы выжить и не сойти с ума, она старается отстраниться. Еще до рождения Агнете Урса всегда жаждала общения, ни на шаг не отходила от папы, старалась играть в той же комнате, где сидит мама, слишком много болтала, хотя знала, что это рискованно: если докучать взрослым, они рассердятся и прогонят тебя в детскую, к куклам и кубикам. Теперь она учится одиночеству, учится быть незаметной и тихой.

Она почти не разговаривает, открывает рот лишь для того, чтобы что-нибудь съесть: кусочек жесткого мяса, сморщенную морковь, овсяную кашу или вареную рыбу, посыпанную для вкуса свежей зеленью, которая сразу вянет и становится бурой. Во время ежедневной трапезы с капитаном она старается стать невидимой: почти неподвижно сидит за столом, ее губы сжаты в тонкую линию, рот закрыт на замок. Даже когда она молится вместе с Авессаломом, стоя на коленях на голом жестком полу, то произносит «Аминь» тихим шепотом, не громче вздоха.

Бывает, что за все время беседы капитан Лейфссон и Авессалом ни разу не обращаются к Урсе – ни словом, ни взглядом. Капитан говорит по-английски с сильным акцентом, и Урсе приходится напряженно вслушиваться – так же, как к Авессалому, когда тот говорит по-норвежски. Муж любит похвастаться своим назначением на комиссарскую должность: так Урса узнает о нем чуточку больше. Ему тридцать четыре, он самый молодой из всех комиссаров, назначенных губернатором Каннингемом. Они с губернатором земляки, оба шотландцы, хотя Корнеты далеко не столь знатного рода. Его имя упоминалось в присутствии самого короля.

– Почему он призвал именно вас? – интересуется капитан Лейфссон. – От Шотландии путь неблизкий.

– Нам предстоит укрепить позиции церкви в здешних северных землях, – говорит Авессалом с той же страстью, с которой молится Богу. – И уничтожить ее врагов.

– Я уверен, таких там найдется немного, – говорит капитан Лейфссон, поднося чашку ко рту. Урса видит, что он пытается скрыть улыбку. – Там почти никто и не живет.

Урса слушает и старательно запоминает. Ей хочется взять от мужа как можно больше, при этом не отдавая ему всю себя, – и вероятно, когда-нибудь чаша весов склонится в ее пользу, и у нее будет какая-то власть в их союзе. Муж желает ее, это видно, но он так же далек от нежности, как их корабль – от конечного пункта назначения. Возможно, когда они доберутся до края света, они все-таки станут ближе друг другу, но с другой стороны, Урса уже не уверена, что ей этого хочется.

Она сама молится лишь об одном и желает лишь одного: хоть какой-то власти над собственной жизнью, – и находит спасение только в одиночестве, в своей тесной каюте, которой сейчас ограничен ее мир на море. Муж где-то пропадает целыми днями. Она вспоминает свои впечатления о нем при первом знакомстве. Ее интуиция подсказала все верно. За его привлекательной внешностью и приятными манерами скрывается жесткая грубость.

Они часто заходят в портовые города вдоль побережья. Им предстоит провести в море месяц – «Может, и два», – говорит капитан Лейфссон, пожимая плечами и не замечая, как Урса бледнеет от этих слов, – хотя путешествие прошло бы гораздо быстрее, если бы они не вставали на якорь почти в каждом порту. Но Урса предполагает, что папе приходится использовать любые возможности для торговли.

Хотя Урса с утра до вечера сидит в каюте одна, она каждый день одевается тщательно и опрятно, как ее научила Сиф. Сама застегивает все пуговицы на спине, продевая их в петли специальным крючком на длинной ручке. У Сиф, наверное, есть точно такой же, иначе как же она одевается? Или все ее платья застегиваются спереди? Урса морщит нос, старается вспомнить. Она пытается сохранить память о доме, так чтобы не ускользнула ни одна подробность.

Однообразная скука дней прерывается разве что приступами тошноты, с которой Урса борется, укладываясь на спину и свесив одну ногу с кровати.

С тех пор, как они вышли из Бергена, миновало десять дней, и Урса уже почти свыклась с новым укладом. Внезапно раздается стук в дверь. На пороге стоит капитан Лейфссон. Стоит, пригнувшись под низкой притолокой, и улыбается.

– Мы входим в Кристианфьорд, госпожа Корнет. Идем прямым курсом на Тронхейм. Погода ясная, и утесы видны как на ладони. Не желаете пойти посмотреть?

Голос у него как у священника или судьи. Голос, превращающий всякое предложение в приказ, которого невозможно ослушаться. Капитан Лейфссон на голову ниже ее супруга, борода у него не такая густая, и волосы светлые, а не темные, как у Авессалома. И взгляд не пронзительный, а очень добрый. Вот если бы Авессалом точно так же смотрел на меня! – думает Урса, и сразу следом за этой мыслью приходит другая: неужели теперь ей до скончания дней суждено мысленно сравнивать всех знакомых мужчин с ее собственным мужем?

Он ждет за дверью, пока она надевает плащ. На корабле, как обычно, кипит работа. Все заняты делом. Матросы, которые встречаются им в коридорах, почтительно отступают в сторону, давая дорогу своему капитану и его спутнице.

– Надеюсь, вы не испытываете неудобств в путешествии? – спрашивает капитан Лейфссон.

– Нисколько. Все очень удобно. Спасибо, капитан. Я надеюсь, что наше присутствие вас не очень стесняет.

– Это фрахт вашего отца.

От нее не укрылось, что он сказал «фрахт», не «корабль».

– Мне очень приятно, – продолжает капитан, словно пытаясь смягчить предыдущую резкость, – что у меня появился такой замечательный повод зажигать свечи в моей каюте, и я знаю, наш кок с удовольствием готовит деликатесы, которые не стыдно подать на стол госпоже из Бергена. – Обернувшись к Урсе, он улыбается в бороду. – К тому же я не бывал в Вардё с тех пор, как ходил на китобойных судах. Ну вот. Вы не желаете подняться первой?

Лестница очень крутая, почти отвесная. Урсе хотелось бы, чтобы сзади был кто-то, кто сумеет ее подхватить, если она вдруг сорвется. Но она в платье, ей нельзя идти перед мужчиной – это было бы неприлично. Она пропускает капитана вперед. Ступени скользкие и холодные, мороз вмиг проникает и сквозь перчатки, и сквозь тонкие подошвы туфель. Почему папа не дал ей с собой теплые сапоги?

Капитан Лейфссон ждет наверху. Когда Урса поскальзывается на обледеневшей ступеньке, капитан легонько поддерживает ее, взяв за локоть. Он прикасается к ней очень мягко, но ей кажется, что его пальцы оставили синяки у нее на руке, даже сквозь несколько слоев одежды: ей невыносимо прикосновение мужских рук, пусть даже с самыми благими намерениями. Капитан ведет ее на корму.

Солнце светит до невозможности ярко, морозный воздух исполнен звенящей хрустальной ясности. Корабль уже вошел во фьорд, с двух сторон высятся отвесные скалы, черные в серых прожилках. Вода в море зеленая и вся усыпана сверкающей ледяной крошкой. Когда порыв студеного ветра бьет Урсе прямо в лицо, кровь приливает к щекам, а легкие наполняются бодрящей свежестью, она чувствует себя лучше, впервые после отъезда из дома.

– Правда, они потрясающие?

– Да! – отвечает она и тут же смущается своей детской восторженности. – Но вы, капитан, наверняка видели скалы еще громаднее?

– Для меня каждый вид ценен сам по себе, госпожа Корнет. Пойдемте.

Он предлагает ей руку. Урса оглядывается в поисках мужа, но его нигде нет. На палубе суетятся матросы, они что-то кричат, передавая слова по цепочке второму помощнику, кото-

рый стоит у штурвала в рулевой рубке ближе к корме. Над ними вздымается парус, хлопает на ветру, как холщовое облако: юнги мечутся вверх-вниз по мачте, регулируют его натяжение.

Урсе приятно находиться среди такого действа. Она опирается на руку капитана больше по необходимости, чем по какой-то иной причине, и они неспешно идут по палубе. Ее ноги будто окостенели и одновременно сделались ватными, они как бы и рады прогулке, и в то же время возмущены, что их принуждают к движению.

– Вам надо чаще подниматься на палубу, – говорит капитан. – Никакие приличия не пострадают, если вы будете выходить на корму подышать свежим воздухом, даже без провожатых. Здесь вас никто не потревожит.

– Я подумаю, – говорит Урса и спешит добавить, смутившись своим резким тоном: – Спасибо, капитан.

– Вам уже доводилось бывать в море, госпожа Корнет?

– Ни разу в жизни.

– Я удивлен, – говорит капитан. – Ваш отец столько раз выходил в море. Путешествия были его величайшей страстью. Можно было бы предположить, что он разделит эту страсть со своими детьми, пусть даже и юными барышнями.

– Папа уже много лет не ходил под парусом, – говорит она. – Прекратил, когда родилась я, а потом, когда мама... – Она нерешительно умолкает. И все же чистый морозный воздух придает ей решимости, и при таком ветре, который буквально срывает слова с ее губ и уносит их прочь, нет нужды что-то скрывать. – Когда мама болела, он не хотел оставлять ее одну.

– О да. Я слышал, что Мерида скончалась. Хотел написать, выразить соболезнования, начинал не единожды, но... – Он разводит руками, и она, кажется, понимает, что он хочет сказать. Корабль – это совсем другой мир. – Шесть лет?

– Девять. Простите меня, я не знала, что вы так близко знакомы с моими родителями.

Он замирает на месте.

– Вы не узнаете меня, Урсула?

Ее собственное имя, не обрамленное именем мужа, почему-то ее смущает и тревожит. Но лицо капитана ей незнакомо. Она качает головой.

– Прошу прощения, капитан. Я должна вас узнать?

– Я неоднократно бывал в вашем доме на званых обедах, когда Мерида еще была с нами. Вы частенько играли в столовой, прятались под столом. Я иной раз потихоньку подкармливал вас чем-то вкусным, передавал вам кусочки под стол, как щеночку... – Он резко умолкает, смотрит на Урсу широко распахнутыми глазами. – Прошу прощения, я не хотел вас оскорбить. Я всего лишь имел в виду, что вы были веселым, озорным ребенком.

Она улыбается в ответ на его тревогу, легонько сжимает его руку.

– Я ничуть не обиделась, капитан.

– Ты вышла на палубу, жена моя. – Авессалом Корнет стоит перед ними, держась за леер. Он такой сдержанный, такой благочинный. Но что-то в Урсе отзывается паникой при виде мужа, возникшего перед нею внезапно, как шквальный ветер. Она не выдает своего смятения, но уголок ее глаза легонько подергивается в такт учатившемуся сердцебиению.

– Капитан пригласил меня на прогулку, муж мой. Хотел показать мне Кристианфьорд. Авессалом смотрит на скалы так, будто заметил их только сейчас.

– Фьорд назван в честь вашего короля, надо думать.

– Не все с этим согласны, – говорит капитан Лейфссон.

– Что фьорд назван в честь короля?

– Что он наш король. Не все одобряют конвенцию.

– Это закон, – говорит Авессалом без намека на юмор, который явственно слышался в голосе капитана. – Закон не нуждается в одобрении.

– Безусловно, – с легким поклоном отвечает ему капитан. Урса вдруг понимает, что вцепилась в его руку и ослабляет хватку. Скулы Авессалома напряжены, на них играют желваки. – Мы совершаем прогулку по палубе. Не желаете присоединиться?

Авессалом резко дергает головой и снова смотрит на скалы. Урса глядит на его руки, сжимающие леер. Наверное, он молился, пока они не подошли.

Между ними звенит напряженная тишина. Неожданная встреча с мужем напомнила Урсе о страхе. Воздух и море пахнут льдом: чистым *ничто*. Ее пробирает озноб. Внутри все сжимается и как будто затягивается в тугий узел, даже когда она больше не видит Авессалома. Фьорд нависает над нею могучей тенью, под этой пронизывающей прохладой Урса пытается расслабиться.

– Стало быть, вы не помните? – капитан Лейфссон говорит очень тихо, словно почувствовав ее панику.

Эти званые ужины и обеды прекратились, когда Урсе исполнилось одиннадцать. В детстве все взрослые казались ей на одно лицо: все нарядные, недостижимые, старые. Все мужчины обязательно с бородой и усами. Она к ним не приглядывалась, она просто радовалась, что ее допускают в этот удивительный мир взрослого смеха и табачного дыма. Она даже не помнит, как пряталась под столом: наверняка это случалось нечасто, может быть, раз или два, когда папа был погружен в интересную беседу и не замечал ее шалостей, а мама смотрела сквозь пальцы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.